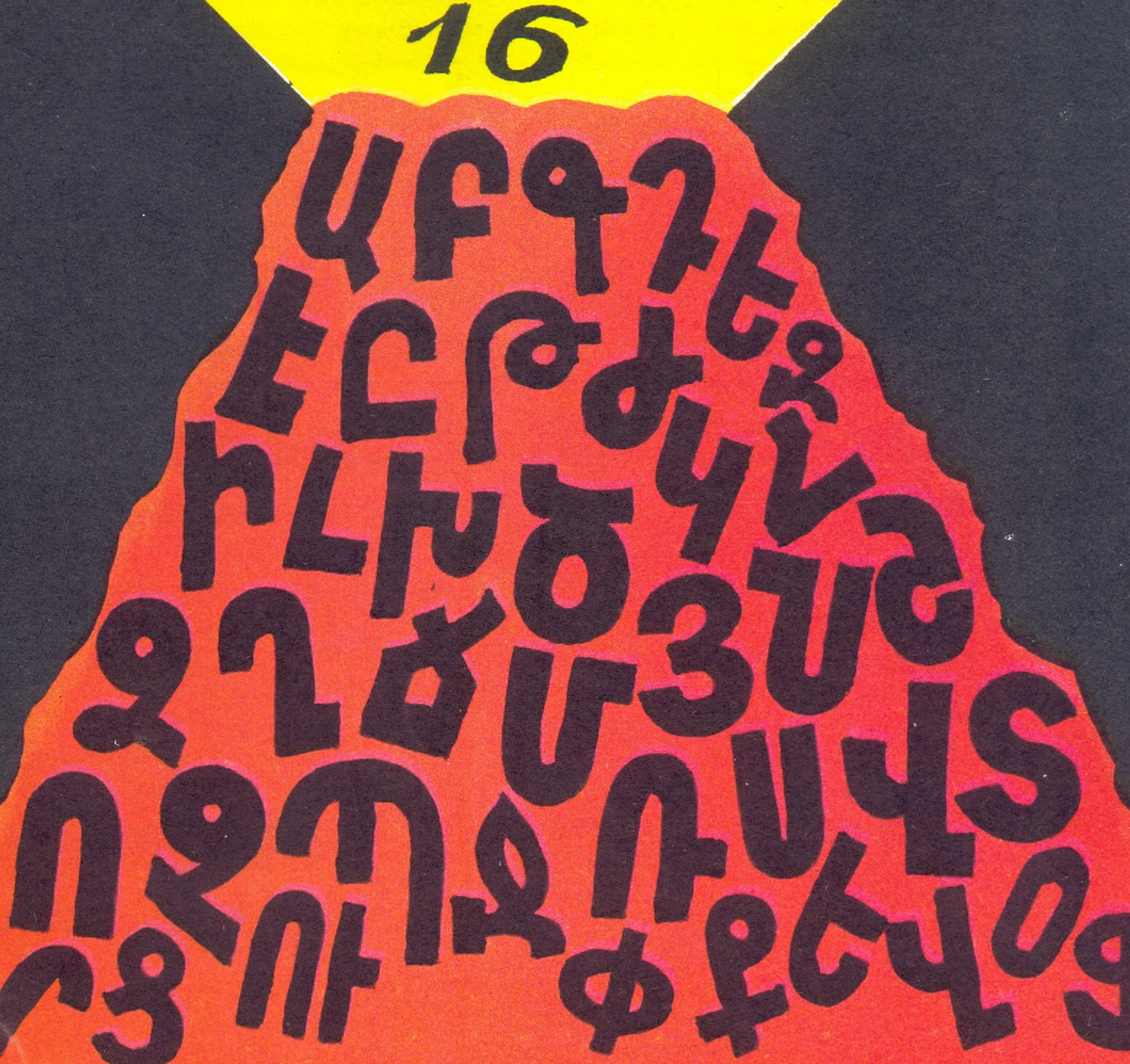
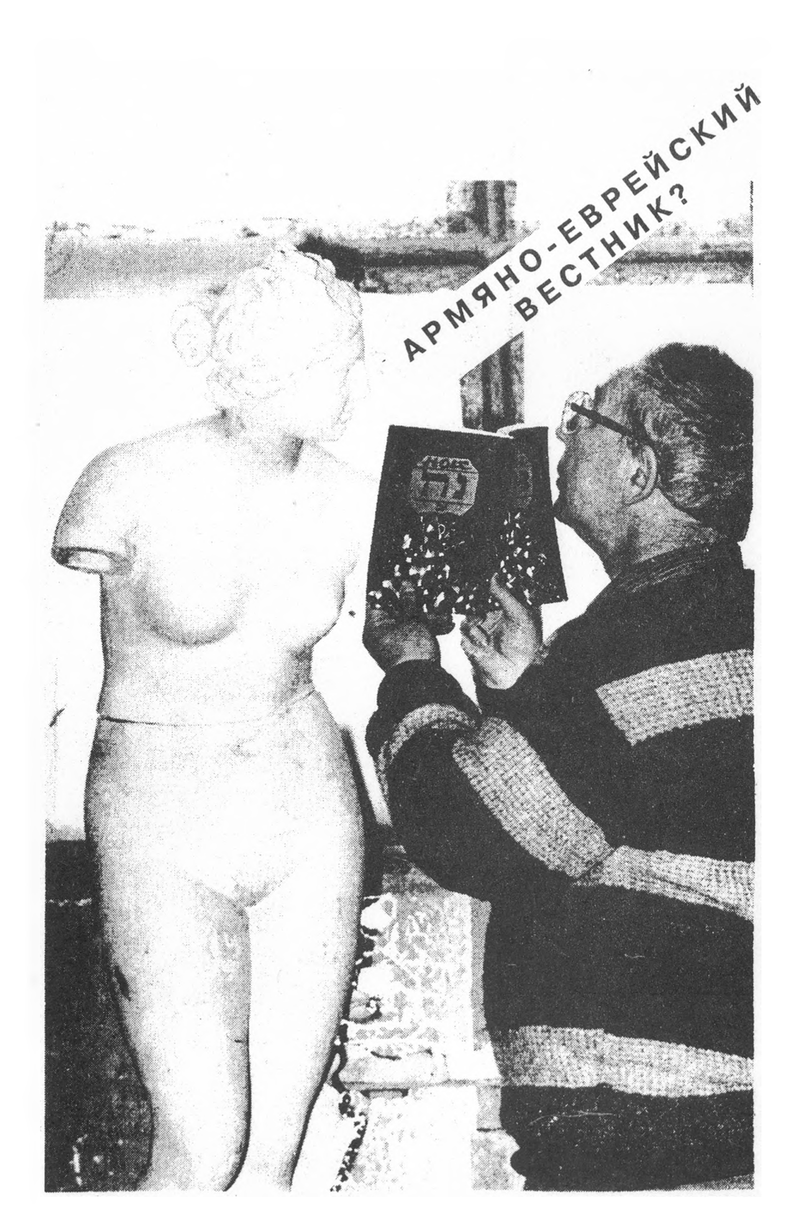
НОЙ

ՆՈՅ

16




АРМЯНО-ЕВРЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК?



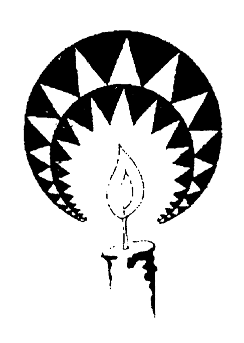
АРМЯНО-ЕВРЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

ИЗДАТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВАРДВАН ВАРЖАПЕТЯН



МОСКВА
1996



АРМЯНО-ЕВРЕЙСКИЙ ВЕСТНИК «НОЙ» — ЕДИНСТВЕННЫЙ В ДВУХ ПОЛУШАРИЯХ ЗЕМЛИ!

Подписка и продажа в России:
113534 Москва а/я 11
тел. (095) 386-25-63

Подписка и продажа в Германии:
фирма «КУБОН УНД ЗАГНЕР»
Kubon & Sagner
Heβstraße 39/41• 80798 München
тел. (089) 54218-110
факс (089) 54218-218

ISBN 5-7270-0012-2



СПАСИБО.
ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ ВЕСТНИКУ «НОЙ»!

Ольга АКУЛИНА
Александр АЛАВЕРДЯН
Лариса БЕЛАЯ
Юрий БУРДЖЕЛЯН
Рубен ВАРДЗИЯНЦ
Владимир ГИРШОВИЧ
Виктория ДУБНОВА
Майя ИОФФЕ
Татьяна КОНОНЕНКО
Юрий КОНОНЕНКО
Николай НИКОГОСЯН
Владимир РУДЧЕНКО
Ефим ФАВЕЛЮКИС
Дмитрий ФУРМАН
Светлана ШЕНБРУНН
Николай ЭСТИС

МОЛИТВА О МИРЕ

Мы, люди из разных стран, исповедующие разные религии, собрались во Флоренции, чтобы воззвать к Господу и просить у него мира. Мы торжественно заявляем: религиозные верования никогда не оправдывали ненависти и насилия. Перед лицом всего мира мы напоминаем сами себе и всем людям, что религия никогда не поддерживала войн, но всегда выступала за мир.

Эта древняя правда сейчас обретает новую жизнь и силу в глубинах самых разнообразных религиозных традиций. Бог желает мира, а не войны. Тот, кто проповедует ненависть к ближнему во имя Господа, бесконечно далек от чистых и незапятнанных истоков веры. Ибо никакое из имен Бога не подразумевает войны, но собранные воедино эти имена складываются в слово «мир».

Говорить о религиозных войнах — абсурд. Отсюда, из Флоренции, мы решительно призываем всех: пусть словом и делом любой религии будет мир. Верующие всех конфессий должны посвятить себя миру, чтобы иметь возможность встречаться друг с другом лицом к лицу, понимать друг друга и сотрудничать друг с другом. Мир — это общая для всех ценность, дарованная Господом человечеству. Война — это жестокость и источник жестокости. Никому не дозволено осквернять мир войной.

Участники нашей межконфессиональной конференции призывают остановить насилие и конфликты. Сюда съехались люди со всех континентов, чтобы свидетельствовать против разрушительных ужасов всех войн. Их голоса заставляют и нас спросить самих себя, достаточно ли мы делаем для мира в наших религиозных сообществах. Мы просим простить нас за недостаточность наших усилий. Вместе с нашими братьями и сестрами мы готовы посвятить себя углублению веры и смягчению сердец во имя мира.

Многие делегаты из развивающихся стран просят нас не забывать о наименее благополучной части планеты и в духе принципов взаимного уважения сотрудничать с ними, например, помогая создавать специальные фонды развития в национальных бюджетах таких стран. Многие свидетельства проливают свет на зло, приносимое национализмом в эпоху,когда мир обретает единство. Религии, которые охватывают все стороны человеческой жизни на разных континентах, безусловно, должны откликнуться на обращение своих братьев, равно как на призыв жертв всех войн.

Во многих странах мир — это пока мечта о будущем, а не счастливое настоящее. Но как люди развязывают войны, так люди же могут творить мир. Наша мечта — чтобы каждый верующий посвятил себя делу мира и привлекал бы к нему всех людей доброй воли.

Мир хрупок. Поэтому мы адресуем наше обращение и к себе, и к верующим, и к политикам — ко всем. Поддерживать мир — в силах каждого. Для этого нам необходимо много работать. Но прежде всего мы обращаем наши помыслы к Господу, чье величие неизмеримо, с мольбой о том, чтобы Он смягчил сердца, искоренил войны, несправедливость, насилие и террор и даровал нам мир.

25 октября 1995
Флоренция

Под звуки «Аллилуйи» Генделя кардиналы, православные, протестантские и армянские епископы, раввины, буддистские монахи, индуисты, огнепоклонники, сикхи, а также тысячи и тысячи людей, находившихся вечером 25 октября на флорентийской площади Санта Кроче, бросились в объятья друг другу, для того чтобы троекратным поцелуем подтвердить свою совместную молитву за мир. Так, уже традиционно, закончилась IX международная встреча «Люди и религии», ежегодно проводимая общиной Святого Эгидия.

Лев БРУНИ. «Дух Ассизи» во Флоренции.
(«Сегодня», 2 ноября 1995)

Борис ХАЗАНОВ

ЧТО ТАКОЕ ДЕМОКРАТИЯ

Вам угодно знать, что я подразумеваю под демократией. На это можно было бы ответить совсем просто: демократия — внешний гарант свободы, и тут уж двумя словами не отделаешься, понадобятся длинные рассуждения о том, что в самом определении свободы заключен парадокс, и если я скажу, что свобода — это то, без чего жизнь перестает быть жизнью, вы возразите, что с таким же успехом монета могла бы утверждать, что она падает орлом, а не решкой, оттого что свободна решать, упасть ей решкой или орлом. Вопрос незаметно свелся к свободе выбора и свободе выбирать условия выбора; чем дальше, тем безнадежней мы вязнем в метафизике, и, может быть, самое лучшее — вовсе отказаться от определений. Ведь в сущности мы и так знаем, что такое свобода и демократия, — не правда ли?

Я — не знаю.

Вы спрашиваете, что за диковинная штука демократия, спрашиваете меня — или нас, тех, кто никогда ее не нюхал, у кого о ней такое же представление, как об устрицах и ананасах в шампанском. Странным образом демократия, которая, если не ошибаюсь, имеет отношение к простому люду, демосу, кажется нам чем-то изысканно-чужеземным, роскошным и аристократическим. Не зря, должно быть, это слово не имеет эквивалента в русском языке. «Народоправство» больше походит на самоуправство.

Придется вернуться к первоистокам, к великому умершему языку, который отхлынул, как древнее море, оставив разбросанные там и сям ракушки-слова. Мы ходим и подбираем их, и слушаем в раковине гул моря.

«...Тирания, это ужасное и гнусное бедствие, обязана своим происхождением только тому, что люди перестали ощущать необходимость в общем и равном для всех законе и праве. Некоторые думают, что причины появления тиранов — другие и что люди лишаются свободы по недоразумению и без всякой вины, просто потому, что они стали жертвой тирана. Но это ошибка... Как только потребность в общем для всех законе и праве исчезает из сердца народа, на место закона и права становится отдельный человек. Поэтому некоторые люди не замечают тирании даже тогда, когда она уже наступила».

У этого голоса нет имени, цитата так и дошла до нас в виде цитаты — из сочинения неизвестного моралиста V века, какого-нибудь современника Фукидида, если только это не был сам Фукидид. Но не все ли равно, откуда это заимствовано? В сущности здесь все сказано.

Обратите внимание, что речь идет о демократии, несмотря на то, что слово это ни разу не названо.

«Тирания, это гнусное бедствие...» Мне было семнадцать лет, когда я вычитал эти слова в одной книжке, это был первый год после войны и лучшее время нашей жизни, я прочитал эти слова, и внезапно мне пришло в голову, что ведь это — о нас и что самый отъявленный антисоветчик не мог сказать о нас хуже. Тот, кто живет в деспотическом государстве, сам в этом виноват, ибо принадлежит к народу, который в этом виноват. Гнусное бедствие оттого гнусно, что оно превратилось в нормальный образ жизни. И потому подданные тирана не замечают, что ими помыкает ничтожество, не замечают тирании, как глубоководные рыбы не чувствуют давления воды и не страдают от мрака. Когда же им приходится слышать о существовании другого мира, они оказываются способными рассуждать о нем лишь в терминах своего собственного, подводного мира. Вот почему мы можем определять демократию лишь отрицательно, как то, чего у нас нет, примерно так, как Шопенгауэр определял человеческое счастье: счастье — это когда нет несчастья.

Вы спрашиваете, что такое демократия; я отвечу. Демократия — это невероятный случай, когда можно философствовать о том, что такое демократия, не боясь, что вас за это посадят в лагерь. Демократия — это общество, которое ухитряется существовать без лагерей. Демократия — это такое общество, где смеются над авторитетами, где не чтят святынь, не кланяются портретам, не обожествляют алебастровых идолов, не поют хором, не шагают в ногу, не ликуют по расписанию, не сморкаются по приказу, общество, которое находит особое удовольствие в том, чтобы ставить под сомнение все свои институты, и всегда спрашивает себя, оправдывает ли оно свои вывески, общество, удивительная способность которого состоит в том, что там не прощают доносов, не превозносят посредственность, не преследуют оригинальность, не карают за талант, не рассматривают юмор как государственное преступление, — и при этом оно каким-то чудом продолжает жить. Демократия — это маленькая Греция, которая выставляет триста воинов, и эти воины умудряются защитить ее от варварских полчищ; это кораблик Франции, который качается на волнах и не тонет; демократия — это богатырь в одежде шута, которому пепел отца стучит в сердце, но никто об этом не знает, это дворец, в котором сидит король, нацепив на себя желтую шестиугольную звезду, и ничего с этим глупым королем не поделаешь;демократия — это то, до чего мы с вами не доросли и никогда не дорастем, потому что время роста давно миновало. Демократия — это юность, а тирания — гнусная старость.

1982

Борис Хазанов, Идущий по воде. Мюнхен. Изд-во «Страна и мир». 1985.



Нина ВЕДЕНЕЕВА (1959-1992)

СТИХИ

ххх

Наверно, даже если я умру и станет
плоть сухой дорожной пылью,
то и тогда она заговорит,
и будет слышать удивленный путник
слова, что вдруг из воздуха польются,
и, ужасом пронзенный, побежит.
И поплывут невидимо слова
над голыми полями, темным лесом,
над белым строем плотных облаков.

ххх

Окно раскрыто, лето за окном,
и в мыслях чистота и отрешенность.
Цветы в кувшинах,
и стихи во мне.
Я знаю, что беспечность ни к чему
и что за все последует расплата,
но я беспечна,
все во мне светло,
как светел воздух, облака и небо.

ххх

Мои часы остановили время,
остановили бег земли и солнца,
рост трав, скольженье облаков по небу,
но и они не властны дождь унять.
Мои часы меня остановили.
Мои надежды, муки и волненья,
вдруг, накипев, поднялись и застыли,
но разве можно дождь остановить?

ххх

Мой день из тишины,
из серого и света,
из ветра и травы,
из голубей и книг,
работой скре́плен в сплав
загадок и открытий,
мой день — сомненья миг
и постиженья миг.

ххх

Как вам близка и внятна сладость звука,
так мной всегда любима тишина.

ххх

И комната моя, где лук в стакане,
такой простой предстала предо мной,
простой, наивной,
даже простоватой.

ххх

Окно раскрыто — море за окном,
и мысли светлые летают где-то,
в чистейшем воздухе растворены.

ххх

Косу на дерево повесив,
смерть собирает яблоки в подол
кроваво-ржавый.
Так легко ступает,
что не слыхать шагов
в беззвучье сада,
где время вечным августом стоит.

ххх

Я одиночеству писала письма,
с ним говорила,
пела для него
и целовалась на пустых дорогах,
под кипарисами.
Увы, вернее оно возлюбленных моих,
и с ним лишь
не разлучаюсь я.

ххх

Я хочу сказать в своих работах, как человек
борется со смертью и что побеждает жизнь.

ххх

И жизнь моя была бесцветна,
как камень халцедон. И жизнь моя
была чистейшей белизною кельи,
где на столе полынь. Перекричало,
переболтало, кончилось. И для занятий
окно раскрыто.
Кисти, стол, бумага.

ххх

Луна сегодня ночует со мною.
Луна, бегущая среди туч, сквозь тучи
сегодня на изголовье моем.

ххх

В ожидании чудесного
проходит жизнь.
Шум ночных деревьев
и стук капель о подоконник
заменяет путешествие в неведомые страны.
Тщета любви земной:

так грустно мне
любить и знать, что это преходяще,
и не опора в горестях она.
И мука плоти, данной Богом нам,
и мука душ, в ней силой заключенных,
победа чья-то мне равно́ грустна,
и нет гармонии.

ххх

И сладость снов и сладость слов отныне
значенье потеряли для меня,
но хлеба плоть,
но кровь вина,
но небо
мне говорят иное.

ххх

И так спокойно я смотрю на землю,
как будто не жила там никогда,
и никогда рукой не прикасалась
к сухой траве,
стволам, цветам и листьям,
и сок травы весенней не пила.
Как будто все отброшено земное,
и, наконец, я — это я. Бесшумно
и величаво облаком плыву.

ххх

Я аллилуйю Господу пишу
деревьями, травой и небесами.

ххх

И лето золотое вдруг во мне
сменилось осени тяжелым горьким медом.
Все замерло, и нету больше сил
сопротивляться, да и как, кому?

Что это «осень»? Серебро маслин,
и тонких персиков горячие ладони,
и золото смоковниц? Разве можно
сопротивляться этому?
Увы.

xxx

Персики по столу раскатились.
Я собирать их не стала.
Думала о тебе и смотрела
на белый стол и зеленые плоды.

xxx

Два человека заблудились в поле.
Идут они, взявшись за руки.
Один по траве ступает,
другой по земле виноградника.
Небо смотрит на них.

xxx

Хочу быть просто полем,
виноградным полем
и по холмам растечься полосами,
и солнце впитывать глазами, сердцем, ртом —
всем существом своим, а руки
лозою вздернуть к небу. Просто полем,
кустом оливы, веткою кизила...
Хочу быть просто родиной моей.

xxx

Женщины — это зимние яблоки,
печаль и музыка,
и сумрак вечерних комнат.
Женщины — странные существа.
Когда они несчастны, они
поют, трогательно и хрупко;

когда счастливы, они вульгарны и глупы.
Они не умеют пить,
пьянеют от первого же стакана,
громко смеются и утомительно болтают.
Они воспринимают все чрезвычайно серьезно,
только понаблюдайте за ними,
как они звонят по телефону —
им кажется, что весь мир
заключен в телефонной трубке.
Они любят таинственность и мишуру.
Чтобы поймать женщину,
нужно просто сколотить золоченую клетку
с тысячами колокольчиков и бирюлек.
Но когда они поднимают лица-цветы
и бесстрашно бросаются
в серое городское утро,
несчастные и беззащитные,
полные страха перед надвигающейся старостью,
перед болезнями,
перед любовью;
когда они осторожно касаются
телефонных дисков
и глаза их погружаются
в печаль ожиданий,
я люблю их.

Георгий КУБАТЬЯН

ЧТО Я ДУМАЮ О ПОЛИТИКЕ

ПРИТЧА О РАЗНОГЛАСИЯХ

Армянское общество чрезмерно политизированно. И не только армянское. Но... каждая семья несчастлива по-своему, каждый народ тоже. И потому российская политизированность отличается от армянской. Иные проблемы, которые размежевывают армян, человека со стороны наверняка озадачат. Хотя главная причина, заставляющая политику то и дело вторгаться в обыденную жизнь, очевидна: страна меняет социальный строй. За пять лет в Армении дважды произошли относительно свободные парламентские выборы плюс к тому выборы президента; дважды проводились референдумы — о независимости и конституции, и дату первого из них, 21 сентября 1991-го, назначили не впопыхах, из-за переменившихся после путча условий, а полугодом ранее. Полгода споров — оставаться в Союзе или, как сказал Вазген Манукян, прыгать с мчащегося под откос поезда — включили в себя национализацию партимущества (в Москве между тем КПСС все еще казалась незыблемой твердыней) и — в отместку за нее — бойню в армянских селах Геташен и Мартунашен, учиненную советской армией и внутренними войсками. Добавьте сюда не развязанный и не разрубленный до сих пор арцахский узел, а ведь он в той или иной степени затрагивает в Армении каждого. Военные успехи и особенно поражения, попытки молодой армянской дипломатии вести на миротворческих переговорах собственную игру, осторожный диалог с Турцией — все это шумно обсуждалось и донельзя накаляло атмосферу не только в парламенте, подчас и на улице. И захочешь быть аполитичным, да не выйдет.

Сверх того вчерашним гражданам СССР издавна привычно, что явления и ситуации, никаким боком с политикой не связанные, намеренно приправляются политическим соусом. Победы наших спортсменов, к примеру, должны были продемонстрировать превосходство социализма над капитализмом, и, случалось, футбольный проигрыш приравнивался к злостному вредительству. Так то при Сталине, скажете вы. А после? Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки спросил как-то не менее знаменитого советского тренера Анатолия Тарасова: «Вы бы взяли меня в свою команду?» — «Нет». — «Почему?» — «Потому что ты не комсомолец».

Куда ни глянь, все имело собственную идеологическую функцию: соцсоревнование на заводе и математическая олимпиада в шко-

ле, профсоюзные здравницы и колхозные удои... Так что нынешняя политизированность не с луны свалилась, а возросла на хорошо унавоженной почве. Вдобавок армяне богаты по этой части не одними лишь советскими традициями, но и своими, сугубо национальными.

Есть в сибирском цикле Гургена Маари (1903-1969) замечательный рассказ «Армянская бригада» (1964). Замечателен он помимо прочего еще и тем, что писатель едва ли не первым осознанно запечатлел редкую способность своих соплеменников отыскивать для раздоров такие поводы, каких другие ни за что бы не придумали. И раздоров не каких-нибудь, а идейных. На русский язык рассказ не переведен, и я изложу его поподробней. Действие протекает на одном из островков архипелага ГУЛАГ. Лагерная администрация поддержала инициативу старого заключенного (между прочим, армянина) и решила сформировать в порядке эксперимента национальные бригады: белорусскую, узбекскую, еврейскую — и позволить им самостоятельно выбрать бригадиров. У азербайджанцев, грузин и всех остальных выборы прошли без сучка и задоринки. А вот армяне... «Состоявшая из двадцати четырех душ армянская бригада разделилась на три партии: коммунистов (пятеро), «дашнаков» (восьмеро) и «нейтралов». Поясню, что за принадлежность к партии «Дашнакцутюн» в Армении репрессировали тысячи людей; настоящих дашнаков было среди них раз, два и обчелся. Потому Маари и взял слово в кавычки. Так вот, дашнаки и часть нейтралов выдвинули в бригадиры почтенного профессора-химика. Не тут-то было. Коммунисты заявили, что не будут работать под началом беспартийного или — тем паче! — дашнака. Их попытались урезонить: здесь, мол, все зеки, стало быть, равны. Куда там! «Мы сидим не в фашистском лагере, а в советском, — упирались верные ленинцы. — И руководящую роль в советском лагере должны играть коммунисты и никто кроме».

Закончилось это так:

«— Кого выбрали? — осведомился Сидоров.

Молчание.

— Кто у вас бригадир? — повысил голос Жигилевский. — Пялятся, ровно бараны...

— Нету бригадира, — несмело сказал кто-то.

— И не будет...

— У нас политические разногласия...

— Чего-чего? — гаркнул Жигилевский. — Ах вы армяшки неисправимые! Вы и тут в политику влезли? Да я вас...»

Армянскую бригаду распустили.

История, конечно, анекдотическая, но ничуть не странная. Маари семнадцать лет провел в лагерях и ссылках; если и не было в сибирской его одиссее такого эпизода, если писатель и сочинил его, против истины он не погрешил. Анекдот, едва присмотришься, перераста-

ет в притчу, смысл которой универсален и приложим к разным временам и стечениям обстоятельств. Политические токи пронизывают мозг армянина. Национальные интересы — эти слова всегда претендовали на важное место в его лексиконе, но слишком уж часто эти громко декларируемые интересы тушевались под натиском партийных амбиций.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

Армянские политические партии стали возникать в 80-е годы минувшего века. Арменисты (по-армянски арменаканы) группировались вокруг газеты «Армения», выходившей в Марселе. Гнчаки (точнее было бы гнчакисты) издавали поочередно в Париже, Афинах, Лондоне газету «Гнчак», чье название («Колокол») позаимствовали у газеты Герцена; созвучны с герценовскими также некоторые идеи партии. Позднее, уже в начале нашего века, появилась конституционно-демократическая партия; в 20-е годы, объединившись с арменистами и частью гнчаков, она преобразовалась в демолиберальную (по-армянски рамкавар-азатакан). В отличие от них, Армянский революционный союз («союз» по-армянски дашнакцутюн; последнее время это слово чаще переводится как «Федерация») возник в России, в Тифлисе; идеология и практика дашнаков роднят их с эсерами.

Несмотря на идейные различия, все партии главной своей целью полагали освобождение Западной Армении от османского гнета. При этом единая цель никоим образом не сглаживала непримиримого их соперничества, а порой и доводившей до крови вражды. Вечная грызня перед лицом общего врага кажется непостижимой, но из песни слова не выкинешь. Идейные расхождения глубоко пропитывали собою быт и уклад и, скажем, исключали женитьбу дашнака на дочери либо сестре армениста, а гнчаку мешали дружить с рамкаваром. Случалось, между добрыми соседями внезапно пробегала кошка; тот вступал в одну партию, а этот симпатизировал другой. И это в Западной Армении, в пору, когда погром следовал за погромом! Дело доходило до вещей совсем уж поразительных. Тот же Мгари, выросший в Ване, в обстановке межпартийных распрей, писал в повести «Детство» (1928), как влияли эти самые распри на его ровесников. Мальчишки, они, естественно, играли в войну с турками, и верховод их мог преспокойно заявить: «Не нужна нам Армения, обретенная с помощью дашнакского маузера, ведь бойцы-то нашего отряда — верные арменисты». Устами младенца глаголет истина взрослых; такая вот истина утверждалась в канун Великой Резни. Недаром автор повести окрестил своих ровесников «отравленным поколением, жертвами политической (междоусобной! — Г.К.) борьбы». Только светопреставление пятнадцатого года заставило наших партийцев позабыть, кто дашнак, а кто

гнчак, и вспомнить, что все они армяне. И в 18-м, у Сардарапата, тоже недосуг было сводить прежние счеты.

Однако же войны кончаются. «Отравленное поколение» подросло. Правда, при отце народов межпартийные споры потеряли актуальность и вспыхивали разве что в сибирском или колымском лагере. Зато в диаспоре...

Три действовавшие в диаспоре партии — социалистическая «Дашнакцутюн», социал-демократическая «Гнчак» и демолиберальная «Рамкавар-Азатакан» — называются почему-то традиционными. Не знаю, право, у кого еще кроме армян политические организации подразделяются на традиционные и нетрадиционные. Ни разу не слышал этого слова в приложении к английским вигам и тори, американским демократам и республиканцам. И в каком смысле наши партии традиционны? Бог весть. То ли они неизменно проводят один и тот же традиционный курс, что маловероятно, то ли так невообразимо долго существуют, что стали своеобычной национальной традицией.

Армяне любят потолковать о своей уникальности, частенько безосновательно, зато не замечают ее там, где она прямо-таки слепит глаза. Вот вам пример. «Традиционные» партии на протяжении семидесяти лет действовали только за рубежом, да и сейчас главные их силы сосредоточены вне страны. Армяне отнюдь не единственный народ, обладающий многочисленной и рассеянной по свету диаспорой, но политические партии действуют в диаспоре только у армян. У евреев их нет, у русских нет, нет у поляков, ирландцев, итальянцев... Почему? Да потому, наверное, что не нужны. Национальность рабочего, или клерка, или предпринимателя, который поддерживает *свою* партию, значения не имеет. Если же общине требуется защитить именно национальные интересы, то соперничающие между собой партии будут ей только помехой. Могут ли в самом деле наши «традиционные» выражать интересы *всего* армянства? То-то и оно. Вдобавок любая из них видит в двух других не союзника, но конкурента.

И потом, обычная партия добивается своих целей участием в политической жизни. Но дашнаки, рамкавары, гнчаки в политической жизни США, Франции, Греции, Аргентины как раз и не участвуют. Их не найти в парламентах (они туда и не стремятся), в правительствах. Те из армян, кто оказывается во властных эшелонах разных стран, в национальных партиях не состоят. Даже в Ливане, где среди министров и депутатов неизменно есть наши соотечественники, они представляют не партию, но конфессию, поскольку власть в этой стране осуществляется по принципу представительства различных религиозных общин. Так что фразы о колоссальном политическом опыте «традиционных» партий (они звучат в Армении регулярно) — чистой воды риторика. Откуда ему взяться, этому опыту? Иногда ссылаются на разветвленную систему благотворительных и культурных союзов:

они функционируют, как правило, под партийным крылом, роль их в жизни диаспоры воистину неоценима. Но с каких, скажите на милость, пор филантропия и содействие культуре приравнены к политической деятельности?

Грустная складывается картина. Политический опыт наших партий заключается в том, что они семь десятилетий разъединяют диаспору: традиционность их в том, как упорствуют они в своей застарелой неприязни друг другу. В итоге учреждения, которые прекрасно бы обошлись без всякой политики — просветительные, спортивные и т.п., — искусственно политизируются. Недавно известная в диаспоре благотворительная организация отказалась, не разъясняя причин, сотрудничать с общенациональным фондом «Айстан». Да и чего разъяснять? Одним не нужна Армения, обретенная с помощью дашнаков, другим — Армения, руководимая аодовцами. Боюсь, если к власти в Ереване когда-нибудь придут рамкавары, то их Армения, вполне возможно, будет не нужна ни АОДу, ни АРФ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРФОГРАФИЯ

В 1922 году в советской Армении произвели реформу орфографии (через восемнадцать лет, в 40-м, еще одну). Реформа как реформа: упростили письмо, приблизили написание к произношению. О том, удачно ли это было сделано, пускай судят специалисты, это, так сказать, вопрос не по теме. Дело в другом. Диаспора категорически отвергла реформу, осуществленную большевиками. При чем тут большевики? Для русских, наверное, и впрямь ни при чем, но мы-то сами с усами. С тех пор советские армяне и армяне зарубежные руководствовались при письме разными правилами. Естественное, исторически сложившееся различие восточно- и западноармянского языков углубилось, теперь уже искусственно, рукотворно. Ну, не могли, никак не могли гнчаки, дашнаки, рамкавары пойти на поводу у коммунистов. Политические принципы превыше всего.

Любопытно, что чуть раньше, в декабре 17-го и октябре 18-го, декретами только-только захватившего власть большевистского правительства была реформирована русская орфография (не менее, кстати, радикально, чем армянская). И что же? Русская эмиграция, ни минуты не признававшая это правительство легитимным, беспрекословно приняла реформу. Отдельные оригиналы, например Набоков, и много десятилетий спустя прибегали к ятям и к «и» десятеричному, но то было фактом их личной биографии; печатались книги того же Набокова без орфографических вольностей. Потому что «белогвардейцы» сочли: глупо смешивать правописание с политикой. Между прочим, большевистское правительство в Ереване было, в от-

личие от московского, достаточно легитимным, поскольку не совершало переворота, но получило власть от дашнаков из рук в руки.

Орфография как фактор политики — чисто армянское изобретение. Добавим, что это фактор современной, сегодняшней политики. Не успели коммунисты спуститься с властного Олимпа, в орфографии наметилась обратная эволюция, и как-то не верится, что наметилась она сама собой. Протекала эволюция без особой огласки, явочным порядком. Никто вроде бы принятых правил не отменял, но довольно взять газету «Айастани Анрапетутюн» («Республика Армения») — рупор новой власти, — чтобы обнаружить: ее заглавие набирается по-новому, то есть, наоборот, по-старому. Значит ли это что-нибудь? Конечно. Коммунисты с их правилами нам не указ — вот где собака зарыта. А что или кто указ?

Никакого указа не было, в том-то и дело. (Впрочем, говорят, что некое постановление имело-таки место, да только кто к нему прислушался?) Школы учат, как учили, а газеты печатаются, как Бог на душу положит; их спектр — от полного следования дореформенным нормам в еженедельнике «Азатамарт» («Битва за свободу») и в литературно-художественном приложении к нему «Варужан» до полного ими, дореформенными нормами, небрежения. Случалось, в одном номере одной газеты разные материалы набирались по-разному. Сейчас, правда, «Азатамарт» и «Варужан» выходить перестали, но закрыты они по причинам, далеким от орфографии: деятельность революционной федерации, официальным органом которой был «Азатамарт», приостановлена.

Политика, всюду политика.

Нынешний орфографический разнобой имеет к ней еще одно касательство. Он, я уверен, роняет авторитет власти. Есть области, в которых уважающее себя государство должно требовать единообразия. Семь раз отмерьте, но все-таки отрежьте: либо так, либо эдак. Свобода свободой, а порядок порядком.

ИЕРАРХ С ПАРТБИЛЕТОМ.

Церковь нигде и никогда не была ограждена от политических ветров. Так что политизированность, которую проявила евреванская пресса, освещая последние события церковной жизни, не удивляет. И тем не менее...

Исторически в Армянской апостольской церкви возникла особая иерархия. За католикосом всех армян следует католикос киликийский, еще ступенькой ниже стоят патриархи иерусалимский и константинопольский. Второй по значимости армянский престол, называемый Большим Домом киликийским, находится ныне в Антилиасе, местечке близ Бейрута. Тамошний католикос всегда пользовался известной автономией, обладая, в частности, правом рукополагать в епископы. Но в

1956 году произошел, по сути дела, переворот. Антилиас вышел из подчинения Эчмиадзину, ссылаясь на зависимость последнего от КГБ и коммунистических властей. Утверждают, будто переворот осуществили дашнаки при поддержке президента Ливана Камила Шамуна. Важный вопрос: кто именно это утверждает?

Зарубежная армянская периодика в большинстве своем партийна, и сведения о схизме восходят в основном к рамкаварским источникам. Используя их, надо учитывать извечную напряженность между «традиционными» партиями. Как бы то ни было, Большой Дом вел себя совершенно самостоятельно и отношения между двумя престолами практически прервались. Возобновились они только в конце 80-х годов. Киликийский католикос Гарегин II приезжал в Армению и не раз являлся пастве вместе с его святейшеством Вазгеном. Однако речей о расколе, по крайней мере на людях, они дипломатично избегали.

В августе 1994 года Вазген I скончался. Кампания по выборам его преемника была предельно скрытой, пока игру в молчанку не прервал Левон Тер-Петросян. Примерно за месяц до Национального церковного собора президент сказал в интервью, что предпочел бы видеть на эчмиадзинском престоле Гарегина Киликийского, и обосновал свое предпочтение (тем, в частности, что это помогло бы вернть апостольской церкви единство).

Буря, тотчас же поднявшаяся в ереванской прессе, не поддается разумным истолкованиям. Спору нет, католикос всех армян — крупная, в масштабах страны и нации, политическая фигура. Но политик он во вторую, а то и третью очередь, разговор же приобрел исключительно политическое звучание. Тер-Петросяна и государство в его лице обвинили в попрании демократии и грубом посягательстве на суверенитет церкви, хотя пресловутое это посягательство, во всяком случае внешне, так и ограничилось одним-единственным высказыванием. Если верить газете «Лрагир» («Газета»), часть зарубежных армян даже к папе римскому обратилась, умоляя «возвысить голос протеста против грубого вмешательства властей Армении в церковные дела».

Президентское интервью словно бы отменило некое табу. Печать в открытую заговорила о том, что прежде проскальзывало только между строк, — о партийности киликийского престола. Тон задала рамкаварская «Азг» («Нация»). На читателя обрушились ошеломляющие сведения: дескать, питомцев антилиасской семинарии воспитывают в сугубо дашнакском духе, тамошний клир и не скрывает своей партийной принадлежности, а высшие иерархи входили и входят в руководящие органы АРФ вплоть до бюро. Только вот загадка: носят ли они партбилеты?

Не берусь оценивать этот крайне компрометирующий церковь материал, не знаю, где здесь правда и где домысел. Что несомненно, так это прямая уникальность обстановки. Да, в основе церковных расколов почти всегда лежат политические мотивы. Нет нужды ходить далеко. Возьмем самый свежий пример: Украинская церковь объявила

себя автокефальной и отпала от Московской патриархии потому, что, как не раз говорилось, независимой Украине нужна независимая церковь. Политика, ничего кроме политики. Но чтобы церковь молча признавала верховенство над собой какой-либо партии — ничего подобного мир, кажется, еще не знал.

Старательно придавая церковным проблемам сугубо политический характер, комментаторы не разъяснили публике, зачем дашнакофобски, по их мнению, настроенному президенту продашнакски настроенный верховный патриарх. А как уникально реагировали наши газеты на порядки в Большом Доме киликийском, ими же изображенные! Ни одна не ударила в набат: церковь, подчиненная партии, это уже не храм Божий, — не попыталась вытащить церковную проблематику из кювета политических разнотолков. Как раз наоборот. Когда Национальный церковный собор (в нем участвовало около 400 делегатов из многих стран) после трех туров тайного голосования объявил Гарегина II католикосом всех армян Гарегином I, пресса растиражировала невнятные намеки: дело, мол, нечисто. Не прозвучало ни конкретных обвинений, ни конкретных имен; для сравнения: после июльских выборов в Национальное собрание много писалось о вполне определенных махинациях и фальсификациях, а виновников их называли поименно. Здесь все было не так. Пример из газеты «Время»: официальными кругами (государственными? церковными?) «прилагаются видимые усилия, чтобы доказать: выборы прошли без нарушения принципов демократии...» На самом же деле, продолжает газета, «насчет демократичности выборов пришлось услышать мнения очень разные». И... все. С одной стороны, попробуй скажи, что наводится тень на ясный день. С другой стороны, попробуй скажи, что не наводится.

Новый архипастырь обосновался в Эчмиадзине; в июне настал черед выбирать киликийского предстоятеля. «Голос Армении» преподнес это событие таким образом: «Несмотря на заверения властей РА, что с избранием Гарегина I удастся преодолеть раскол между двумя крылами Армянской апостольской церкви, вчера в Антилиасе прошли выборы нового католикоса». Фраза из разряда «нарочно не придумаешь».

Во-первых, одно интервью одного лица, в котором выражена *надежда*, превратилось во многие *заверения* многих лиц. Во-вторых, если бы власти и заверяли, что решат проблему, которую они не вправе решать, то скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; времени-то прошло — апрель, май, июнь. В-третьих, самый факт выборов подается как признак продолжающегося конфликта. Но киликийских католикосов избирали до раскола и будут избирать, если раскол удастся устранить.

Зато с каким тщанием политизирована эта, с позволения сказать, информация!

Через день «Голос Армении» сообщил: новый киликийский католикос Арам I — откровенный сторонник дашнакской идеологии. Сме-

ло сказано, ибо совместимы ли между собой христианство с его культом терпения и терпимости и революционность, которую исповедует «Дашнакцутюн»? Такой неглупый человек, как Федор Тютчев, полагал, что душой всякой революции являются «антихристианские настроения... это ее особенный, отличительный характер». Стало быть, либо Арам I только прикидывается христианином, что самым скандальным образом подрывает устои национальной церкви, либо газета вводит публику в заблуждение.

Интересная деталь. Посетив осенью Армению, Арам I недвусмысленно сказал: «У нас одна церковь, а не две». Дипломатия, дань этикету или все-таки нечто большее? Какой простор для комментариев! Но их не последовало. Возможно, потому, что политика тут сбоку припека.

КОМУ КУЛЬТУРА, КОМУ КОНЪЮНКТУРА

Справедливости ради укажем область, которая в Армении политизирована куда меньше, чем, к примеру, в России. Это искусство и литература. Армянские творческие союзы тоже, разумеется, не сохранили монолитности советских времен. Однако бросается в глаза важная особенность. В России развал единой писательской организации только закрепил идейное, идеологическое противостояние, прорывавшееся наружу начиная с 60-х годов, и нынче разные союзы ориентированы на противоположные политические полюса. Междоусобица же армянских литераторов обусловлена чем угодно, первым долгом амбициями, только не идеологией и не политикой. Скажем, в Союзе писателей Армении сегодня довольно мирно сосуществуют литераторы, состоящие в партиях, о подлинно мирном сосуществовании которых пока разве что мечтаешь: дашнаки и рамкавары, аодовцы и коммунисты; фактически СПА деполитизирован.

В Верховном Совете страны, чьи полномочия истекли в июле 95-го, числилось около десятка писателей; в Национальном собрании нет, если не ошибаюсь, ни одного, да и среди соискателей депутатских мандатов их, вкупе с людьми искусства, можно было перечесть по пальцам одной руки. Либо творчество, либо законотворчество — похоже, под сенью Арарата утвердилось именно это мнение. Посему целый легион художественной интеллигенции, добивающийся мест в Госдуме, вызвал здесь легкую оторопь. Впрочем, в Армении свое: три министерства — внутренних дел, культуры и обороны — возглавляются профессиональными литераторами, которым сейчас явно не до литературы.

И еще. Российскую публику и прессу крупный мастер привлекает раньше всего своими произведениями. Кого бы занимало, страдает ли Василий Белов антисемитизмом, не напечатай он роман «Все впереди»? Кому сегодня придет в голову попрекать Михаила Ульянова, требовавшего в 88-м, на партконференции, не менять генсека мини-

мум десять лет? Его достижения на театральных подмостках перевешивают в глазах зрителей явный провал на подмостках политических. Ставят ли в вину многочисленным служителям муз горячую поддержку Ельцина? Ситуация меняется; вчера самым достойным был для них Ельцин, сегодня, видимо, нет.

В Армении ничего похожего. Те, кто разочаровался в президенте (чтобы разочароваться, надо прежде побыть очарованным), не в силах простить писателям Амо Сагияну и Гранту Матевосяну, живописцу Григору Ханджяну, композитору Тиграну Мансуряну их телепризывов голосовать за Тер-Петросяна. Хуже всех приходится лучшему нашему прозаику. Чего только не прочтешь о нем: он-де безразличен к страданиям народа и чуть ли не продался, пристраивая на тепленькие места своих близких. И главное, он виноват в том, что «народ ошибся» и «выбрал не того». Кого из шестерки претендентов надо было рекомендовать в 91-м, чтобы в 95-м не кусать локти, об этом, правда, умалчивают.

Претензии к Матевосяну ряда газет столь глубоки, что редакции не сочли для себя возможным отметить или хотя бы заметить 60-летие выдающегося писателя. Политическая конъюнктура застит глаза; какие книги, какой юбилей, он же не наш! Событием воспринимается на этом фоне слово о писателе выдающегося же актера Соса Саркисяна в «Гракан терт» («Литературная газета»). Надо же, бывший кандидат в президенты от души восхищается бывшим доверенным лицом своего более удачливого конкурента! Обычное выглядит в заполитизированной нашей обстановке из ряда вон выходящим. А ведь пройдут годы, выветрятся из памяти перипетии президентской кампании (они уже основательно подзабылись), а «Буйволица» и «Ташкент», «Похмелье» и «Жила земли» неизбежно станут классикой армянской литературы.

Политизация всего и вся — болезнь, мания. Охваченный ею не брезгует перлами давних-давних лет, и вот непримиримо оппозиционная газета на полном, что называется, серьезе выносит в заголовок грозное горьковское «С кем вы, мастера культуры?», то ли забывая, то ли, напротив, напоминая забывчивым стройную логическую цепочку. Вы с нами или с ними? Имейте в виду, кто не с нами, тот против нас. А кто против нас, тот враг. А если враг не сдается, знаете, что с ним делают?

Заполитизированность ереванской атмосферы сродни загазованности. Дышать в ней в общем-то можно, и потихоньку перестаешь испытывать ощущение ненормальности. Потому что где она, норма? Ну, занимает политика место, по чину ей никак в нашей жизни не принадлежащее, ну и пускай. Временами даже любопытно смотреть на мир сквозь весьма специфическую ее призму. Мир, конечно, выглядит искаженным, но не настолько, чтобы тотчас это понять. Иной раз и усомнишься, а нужны ли нам достоверная картина происходящего и чистый, не изгаженный политическим смогом воздух...

АРМЕНИЯ. ГОД СПУСТЯ.

Гоар МАРКОСЯН — Калле КАСПЕР

Гоар: Итак, прошел год. На первый взгляд, все по-старому. Та же, захватившая улицы, площади, подземные переходы мелкая торговля...

Калле: Восточный базар.

Гоар: Продуктовые рыночки, вещевые рыночки, ярмарки, на каждом шагу фрукты и овощи, на каждом углу то, что в Ереване называют «ненч», где безотказно меняют доллары и неохотно марки — драм, кстати, держится вполне бодро, с прошлого года подешевел лишь чуть-чуть; тот же выбитый асфальт — мостовые, впрочем, залатали, остались тротуары. Минимум рекламы, максимум жары, и над всем этим голубой летний Арарат.

Калле: Год, возможно, достаточно большой кусок времени в жизни отдельного человека, но в жизни народа или цивилизации это только миг. История оперирует тысячелетиями, веками, редко десятилетиями. Несмотря на внешние признаки конца XX века на улицах Еревана в виде машин...

Гоар: Которых стало больше...

Калле: Светофоров...

Гоар: Которые все еще не работают...

Калле: И пустующих постаментов...

Гоар: С одного — надеюсь, навсегда — убрали Ленина, с другого снесли Чехова и теперь собираются ставить нового, во всяком случае там высечена соответствующая надпись...

Калле: ...Лично я думаю, что духовная жизнь армян ближе к их же духовной жизни в XIII или даже I веке, чем к жизни, к примеру, эстонского народа в данный момент.

Гоар: Армяне слишком древняя нация, чтобы сильно меняться — к этому мы пришли еще в прошлом году.

Калле: Конечно, изменения есть, но для того, чтоб они произошли, потребовались века. Поэтому сравнивать жизнь в Армении летом 1994-го и летом 1995-го в общем-то пустое занятие.

Гоар: Почему тогда мы этим занимаемся?

Калле: Потому что стали более рельефны некоторые тенденции, которые, безусловно, существовали уже в прошлом году, но были скрыты за вуалью стереотипов поведения людей в советскую эпоху. Можно назвать это национальным характером, можно назвать способом самоорганизации общественной жизни данного народа либо степенью развития общественных отношений исторической формации...

Гоар: Звучит заковыристо, но не очень понятно.

Калле: Советская власть не была придумана и введена в действие армянами.

Гоар: Хотя некоторые из них принимали в этом посильное, даже весьма активное участие.

Калле: Естественно, эта идея захватила и армян — но не большинство. Армяне просто приспособились к этой власти и, надо сказать, приспособились неплохо.

Гоар: Лучше многих других.

Калле: В отличие от этих многих они приняли навязанную им систему только как правила игры и, следовательно, относились к Советской власти с разумной долей цинизма. Но главное даже не в этом.

Гоар: А в чем?

Калле: В том, что на плечах собственно армянского народа, как и латышского или киргизского, не лежала ответственность за то, как этот народ прокормить, выучить, наделить законами и т.п. Это решалось в Кремле. А сейчас все изменилось: каждому из бывших советских народов приходится крутиться самому, и в том, как именно данный народ крутится, проявляется его сущность. Ты согласна?

Гоар: Более или менее.

Калле: Когда человек не сам отвечает за себя, он более инфантильный, более добрый, даже более щедрый.

Гоар: За чужой счет.

Калле: Естественно. С народами, по-моему, то же самое. Но в условиях собственной государственности, увы, начинают проявляться наихудшие стороны национального характера.

Гоар: Может, дело не в государственности, а просто в тяжелых условиях жизни?

Калле: Социальный гнет в пределах одной нации выглядит более аморальным, не так ли?

Гоар: Да, выглядит — на фоне наших романтических представлений. Когда все начиналось, казалось, что теперь будет иначе — честно, чисто, благородно. Ну как можно обкрадывать собственное государство?

Калле: Оказывается, можно.

Гоар: А поскольку теперь из Москвы денег не шлют, остается только обкрадывать собственных граждан — прямо и через посредство государства. В Армении, я тебе скажу, всегда брали взятки — на моей памяти, конечно, брали многие, от больничного сторожа до государственных чиновников. Но не столь нагло и откровенно. А как поступает государство? Соотношение цен и зарплат в Армении исключает честный образ жизни. Так называемая рыночная экономика создает такую конъюнктуру цен, которая предполагает — для того лишь, чтобы не умереть с голоду — доходы в десять — двадцать раз большие, чем реальные. Иными словами, зарплата врача или педагога составляет 8

— 10 долларов в месяц при том, что дорога на работу и обратно на самом дешевом общественном транспорте стоит 2,5 доллара, а за хлеб (если покупать по буханке в день) в месяц надо выложить 7 долларов. Что остается делать педагогу или врачу? Обирать учеников или больных, и этот грабеж принял ужасающие размеры, в частности в медицине. Каких только жутких историй не рассказывают — ребенку с переломом руки не накладывали гипс, пока родители не принесли сто долларов, роженицу не выписывали из роддома до тех пор, пока муж не «отблагодарил» врачей, акушерок, санитарок, вплоть до завотделением, которого женщина в глаза не видела, но чтобы добыть денег на этот последний взнос, ей пришлось оставить младенца в залог и обегать всех подруг...

Калле: Ладно, цену слухам мы знаем.

Гоар: Конечно, и все-таки...

Калле: Самое неприятное во всем этом — неопределенность положения того же врача, педагога, любого служащего. Есть два честных пути. Один — платить работнику зарплату хотя бы в пределах минимальной потребительской корзины, другой — честно сказать: я тебе платить не могу, у меня нет денег. То есть уволить. На первый взгляд это более бесчеловечно, но лишь на первый взгляд. Человек будет вынужден сам искать себе обеспечение, например, начать собственное дело, это трудно, но не вынуждает его распрощаться со своей честностью. Теперь же всем этим людям приходится брать плату за свой труд в обход закона. Что снижает ценность закона. По-моему, в Армении закон при смерти, если он еще жив.

Гоар: Моим бывшим сотрудникам предложили перейти на полставки, открыто при этом заявив: какая вам разница, вы же на зарплату не живете.

Калле: Создается атмосфера всеобщей аморальности, при которой обман поощряется, а честность не только не вознаграждается, но напрямую высмеивается. Для большинства людей антиномии честность — деньги уже не существует. Жизнь сама заставила их сделать выбор.

Гоар: А кто его не сделал или сделал пока только теоретически, а не практически, теперь казнится, что до сих пор жил честно, как дурак, и потому нищ.

Калле: Это совсем не похоже на капитализм, это лишь видимость капитализма и демократии, а в сущности, феодальные взаимоотношения.

Гоар: Говоря о морали и аморальности, не могу не напомнить тебе о документе, который висит на стене приемной армянского посольства в Москве. Согласно этой бумаге иностранцы армянского происхождения могут получить вид на жительство в Армении за... 1000 долларов. Речь ведь о западных армянах, потомках жертв геноцида

1915 года, разбросанных ныне по миру. Дело даже не в том, много это — тысяча долларов, — или мало, для кого пустяк, для кого — большие деньги, помню, мама рассказывала мне об армянке, с которой познакомилась в Аргентине и которая мечтала увидеть Армению, но не могла собрать деньги на дорогу. Дело в принципе. Как можно выдвигать обвинения в адрес турок, а самим тянуть деньги с их жертв? Что это за мораль такая?

Калле: Ну, морали и в других постсоветских странах кот наплакал. Но вернемся к феодализму и демократии. Незадолго до нашего приезда состоялись выборы, мы даже застали второй тур.

Гоар: В день голосования второго тура пришла соседка, не хотят ли папа с мамой съездить на избирательный участок на машине (расстояния там — один квартал). Надо только проголосовать за Размика. А кто такой Размик? — поинтересовалась я. Соседка помялась и призналась, что не знает, просто за этого Размика ратует приятельница, которой принадлежит машина. Это еще весьма демократично: не подтасовывают ведь бюллетени в урне, а тихо агитируют — с помощью машины. Что касается бюллетеней... По результатам победила правящая партия, вернее, блок партий. Судачат, что результаты фальсифицированы. Ничего утверждать не берусь, общественное мнение «улицы» вещь сомнительная, люди могут хором проклинать и поносить Левона Тер-Петросяна, а потом пойти и проголосовать за него, все возможно. Однако, рассуждая логически, учитывая падение жизненного уровня, совершенно, можно сказать, разрушенный быт без элементарных удобств, положение, когда половина семей в разлуке — как во время войны! — люди уезжают на заработки в Россию и иные места, чтобы худо-бедно прокормить своих детей, надо прийти к выводу, что правящая партия не могла не проиграть выборы. Поскольку мы с тобой постоянно ездим из страны в страну и имеем возможность наблюдать процесс реформ в России, Эстонии и Армении одновременно и сравнивать, то приходится признать, что при той исходной ситуации, которая была в Армении (война, блокада) плюс геополитические сложности, экономически все еще не столь плохо, сколь могло бы быть. И вряд ли какая-либо другая партия справилась бы лучше. Уж никак не коммунисты, которых вспоминают с ностальгией люди старшего поколения, оказавшиеся буквально на грани голодной смерти (если б не традиционно крепкие семейные узы, они все перешли бы за эту грань). Но человек видит только то, что происходит вокруг него. В Эстонии правящая партия проиграла выборы вчистую, в России на прошлых выборах в Думу ЛДПР опередила партию Гайдара (что-то еще сейчас будет!) АОД в Армении тоже неизбежно должно было проиграть выборы.

Калле: Но этого не произошло, ибо АОД за это время создало очень действенную структуру власти, опирающуюся на сильное МВД.

Эта власть, как любая другая феодальная, занимается только тем, как бы сохранить себя, не выбирая при этом средств.

Гоар: Однако преступности по-прежнему не видать.

Калле: А такая власть не терпит и преступников. Ей ведь не надо доказывать вину преступника, она может просто расправиться с ним с помощью силы. Такого рода силовые структуры — примерно как опричнина у Ивана Грозного. Они и подавляют инакомыслие, и собирают дань, и расправляются с разбойниками. Все очень просто, без всяких демократических выкрутасов. Собственными глазами видел, как армянский полицейский ногой разбил банку со сметаной у уличной торговки, которая явно не заплатила ему за право торговать — возможно, в неположенном месте.

Гоар: Кстати, о торговле. При том, как буйно расцвела торговля продуктами, которых теперь завались, и промтоварами, которых в прошлом году было куда меньше, чем в этом, книготорговля, можно сказать, вообще прекратила существование.

Калле: Так было уже в прошлом году.

Гоар: Но если в остальных сферах налицо подъем, в этой, как минимум, никакого сдвига. А на мой взгляд, стало еще хуже.

Калле: Выводы?

Гоар: Выводы по твоей части, я только наблюдатель. Юбилей (пятидесятилетие) поэта Ованнеса Григоряна оставил двойственное впечатление. С одной стороны, это был юбилей милый, уютный, домашний, без официальных лиц и адресов, после не очень торжественной части следовал скромный стол с одной бутылкой коньяка и двумя шампанского — как и подобает поэту, который живет на гонорары, с другой стороны, атмосфера всеобщей подавленности, когда выступающие литераторы то и дело возвращались к какой-то передаче по телевидению, в которой утверждалось, что армянская литература умерла. Писатели были обижены и встревожены. А юбиляр выразился примерно так: «Раз есть народ, значит, есть и литература, пусть она и не издается. А если литературы нет, значит, нет и народа».

Калле: Сказано метко.

Гоар: Еще он говорил о том, что перед распадом СССР писатели мечтали что вот будет независимая Армения, и они начнут издавать множество книг и журналов...

Калле: Кто — они?

Гоар: В том-то и дело. В советское время казалось, что единственное препятствие между писателем и читателем — цензура. А ведь кроме писателя и читателя нужен еще издатель, эта система трехзвенна. Армянское государство от роли издателя отказалось...

Калле: Да, литература и государство все-таки связаны друг с другом тесными узами. Многое ли мы знаем, к примеру, о курдской литературе, которой тоже немало веков? По крайней мере, Эстонская

энциклопедия упоминает о ней всего одной строкой. А все потому, что у курдов хотя и есть литература, но нет государства, которое эту литературу представило бы в достойном виде. Так что, с одной стороны, собственное государство резко выпячивает все, в том числе наихудшие, стороны национального характера, а с другой, оно необходимо, чтобы живущие в этом государстве и претерпевшие по его вине немало мук художники могли б эти муки как-то выразить (и чтобы потом это же государство могло ими гордиться). А вообще-то литература, как и искусство, умереть не может. В Армении, как ты заметила, сейчас возрождается искусство хачкара. На кладбище, где мы побывали, «выросло» немало новых произведений в этом оригинальнейшем монументальном жанре. Тут, пожалуй, последний парадокс: мерзости в жизни больше, и она бросается в глаза в первую очередь, в том числе и все, что касается не самых приятных черт каждого народа. Искусства меньше. Но потом, много веков спустя, помнят именно это искусство.

Гоар: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда» — так, что ли?

Калле: Так.

Серж ГЭНСБУР

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ СКАЗКА

Маска падает, человек остается, герой исчезает.

Пока я лежу на этой больничной койке и над нею кружатся дерьмовые мухи, ко мне приходят образы прожитой жизни, порою четкие, чаще смутные, out of focus, как говорят фотографы, передержанные или, напротив, слишком темные, кадр за кадром составляющие целый фильм, который смешон и жесток одновременно своею странностью, что лишь осталось воплотить на длинной целлулоидной ленте с продольной перфорацией и озвучить при помощи выхлопов кишечного газа.

И вот я опираюсь на свою шаткую память: ведь с самого нежного возраста меня тяготит мой врожденный дар, это воистину неизбывное несчастье, — безостановочный пердеж, когда мне, униженному и изворотливому, суждено нетерпеливо ожидать удобного случая, чтобы сделать сей выдох без свидетелей и без чувства стыда, дабы никто из окружающих не смог обнаружить во мне этой ужасной аномалии. Я полагаю, что благодаря скрытой слабости моего анального сфинктера воздух скверов и общественных уборных наполнялся водородом, углекислотой, азотом и метаном; когда-то я мог при малейшем желании остановить эти вредоносные испарения простым сокращением ректальной ампулы.

Сейчас, лежа на больничной койке в тоскливом ожидании третьей пытки электрокоагуляцией, я гляжу на простыню, вздувающуюся от моих бурных и смрадных петард, которые я давно разучился сдерживать, и, весь опрысканный бесполезными дезодорантами, влачу жалкое тошнотворное существование.

Мои первые младенческие попукивания, похоже, ничуть не волновали кормилицу, женщину с пульмановскими грудями, которой я время от времени отсылал прямо в глаза несомое моим собственным ветром облачко талька, которым она припудривала мои ягодицы, после чего, попукивая, я продолжал лежать с тем же видом придурковато улыбающейся пискливой крысы.

Затем случилось целое шествие нянек, этакий балет «от-кутюр». Одна, в кружевах и в джерси, мимоходом обучила меня кирилице, другая — игре на гармошке, но ни одна из них не выдержала более трех лет источаемых мною зловоний.

В колледже, в «турецких» уборных с двустворчатыми дверями, там, где один лишь учитель, имевший свой ключ, мог оставить, как ему казалось, самое ценное, страх сжимал мне горло и вынуждал мой анус издавать паразитарные звуки, которые могли быть услышаны чуть ли не во дворе, хотя тут же рядом другие смело пользовались свежей прессой, вовсе не боясь выдать свои маленькие тайны. Не для меня игры в бабки, в вышибалу и в волчок, и все игры, где нужно садиться на корточки, что обнаруживает недержание газов, и в прятки — тут газы выдавали бы мое присутствие, в классики, — когда меня пучило при каждом скачке, и я исчезал на своем транссибирском экспрессе, чудом укрощая утопический локомотив, и на нем, потихоньку, как бы маленькими шажками душевнобольного, старался преодолеть качающиеся мосты и бесконечные тоннели, полные пыхтений и выхлопов, и склоны, увлеченно украшавшие порой мои трусики горчичными припарками.

Я рано обнаружил в себе склонность к рисованию, но спонтанность моих эскизов и наивная свежесть акварелей были быстро подавлены учителями с помощью кубических посудин, кроликов в клеточку, голубых свинок и тому подобной ерунды, и мне, увы, приходилось подчиняться и мстить им в бассейне, где рядом с ними я выпускал радужные пузыри, подымавшиеся к поверхности прежде, чем лопнуть на свежем воздухе, освобождая накопившийся газ.

Очутившись в общей спальне, в первую же ночь, когда мне понадобилось, не тревожа соседей, дать свободу моим дуновениям, после двух-трех неудач, покрытых вынужденными приступами ложного кашля, я сделал открытие: палец осторожно проникает в сфинктер, и газы выходят без млейшего шума; днем же, бегло листая Катулла, Quid dicam gelli quare rosea ista labella, я, даже не стараясь сдерживаться, молча глядел на сидящих рядом товарищей, причем так уверенно, что никто меня ни в чем не подозревал; а когда меня вызывали к доске, учитель напрасно пытался понять, кто из целого класса шутников был на такое способен.

Каникулы я провел в полном одиночестве, на северных песках, у недоступных горизонтов, где, дрожа под сумеречным шквалом, я, метеоролог, посылал из заднего прохода шары-зонды, и ветер уносил мои фумаролы и растворял их блуждающие огоньки в волшебных и чарующих вихрях.

Меня вытурили из колледжа за плохую дисциплину, и, гонимый собственным ветром, я поступил в школу Изобразительных Искусств, где, будучи слабоват в математике, без труда схватывал основы архи-

тектуры. Занятий было много, и мне вновь приходилось владеть собой. И я уже почти полностью мог себя контролировать; занятия проходили на седьмом этаже пристройки, и, подымаясь, я методично портил воздух на каждой ступеньке, что позволяло мне затем сдерживаться и хранить свои злополучные газы от тригонометрии до живописи.

Начал я с рисунка углем и на заре водрузил треножник мольберта возле Персея Челлини, зачарованного, как и я, перерезанным горлом Медузы, и в этих пустынных галереях, где эхо повторяло мои выхлопы, улетающие в пространство между бронзой и гипсом и со звоном ударяющие в стеклянные своды, — здесь, в этих галереях, я чувствовал себя немного счастливым. Затем я учился писать с натуры; тут понадобились хладнокровие и отсутствие животного интереса к открываемой мною женской красоте. Из этой кучи дряблой плоти, из этих пышных и костлявых тел, русых, рыжих и вороных лобков, с порой свисавшим из острого угла равнобедренного треугольника шнурочком разового тампона, во мне родилась неистовая женоненависть, до сей поры не покинувшая меня, в то время, как рука моя отражала все это в едких и гневных эскизах, заверенных тонкими нитями спермы — исчерпывающие автографы, по наитию приводившие меня к проституточке из предместья, Розе, Агате, Анжелике, имя растения, камня или цветка — не важно, она впихивала мой член в свой крохотный ротик, и я тут же пердел так, что бедняжка с головой уходила под простыню, будто бы там — средство для очищения полости рта, и вот, нахлороформленная, она медленно скользит по линолеуму.

Вскоре на поприще изобразительного искусства я достиг солидного мастерства, не сравнимого, однако, с моими способностями другого рода, и я, поглощенный учебой, стискивал зубы и ягодицы, и дрожь пробегала по затылку прежде, чем я решался покинуть мастерскую и идти извергать целыми гроздьями злосчастные грохочущие газы в холодных коридорах.

Я относился со скрытым пренебрежениям к моим наставникам, несмотря на то, что одни из них имели репутацию неоклассицистов, а другие — ретроградных модернистов, а так как я должен был называть их «мэтр», как негр хозяина в семнадцатом веке, я гораздо позже распознал в них желание посвятить меня в тайны благородного искусства.

В то время, чтобы оформить свое credo, местом раздумий я выбирал музеи, и там, лихо пробегая мимо Джоконды, гнусной ухмылкой и уж не знаю какими колдовскими чарами напоминавшей мне мое собственное расстройство, я замирал перед Себастьяном де Мантенья и ждал, пока музейные крысы не отойдут подальше, чтобы завести свой мопед и, бурно выделяя выхлопные газы, вдали от городского шума, любоваться строгостью рисунка, ритмикой колонн и шпицев колоколен, ангельской нежностью оттенков, а моя медленная пытка постепенно переходила в агонию экстаза.

Я умудрялся сохранять с людьми некую вполне безболезненную мизантропическую дистанцию, пока не пришло то ужасное время, когда меня призвали в армию. Я бурно прошел медкомиссию, где мой недуг восприняли как неподчинение и поместили в дисциплинарный лагерь; там, в тесноте казармы, я познал беспредельную грубость мужчин, которые, оставшись без дела при закрытых дверях, почитали за честь нарочито откровенно использовать все естественные отверстия. Мои же отравляющие вещества повергали этих бедняг в умиление; дурацкое питание — тушенка, горох, фасоль — создавало атмосферу соревнования: пррр! — звучало тут и там, и в помещении становилось уже не продохнуть.

Меня объявили абсолютным чемпионом и наградили кучей прозвищ: Благоуханный, Бомбарда, Канонир, Подрывник, Артиллерист, Боец, Миномет, Химическая бомба, Базука, Берта, Ракета, Шквал, Стеклодув, Анестезист, Свирель, Утечка, Запашок, Козел, Хорек, Метан, Газогенератор, Эол, Соседушка, Борджиа, Зефир, Фиалка, Ветерок, Мистер Пум, Бздун, Вонючка, Газопровод, Camping-Gaz, Пироксилин, Ветрожоп, Gaz-oil, Жемчужинка, всех, конечно, не припомню; и, в конце концов, на грани асфиксии, пытаясь решить вопрос об отдельном жилье, я добился свидания с полковником, и он, преодолевая свою ненависть к моим славянским корням, удостоил меня привилегии: отправил в E.O.R., школу офицеров запаса, откуда я вышел младшим лейтенантом, но был разжалован через восемь дней: недостойный офицерского звания Соколов, говорилось в рапорте, имитировал орудийный салют во время выноса знамени, — полковые орудия при этом молчали, — гнусность, которую никто бы и не заметил, если бы горнист, надышавшийся моим веселящим газом прежде, чем приложиться к трубе, не выдал усиленные медью звуки, немного похожие на те, что обычно издает мой анус, чем заработал пятнадцать суток ареста, мною же, впрочем, и отсиженные.

Демобилизовали меня туманным ноябрьским утром, во время маневров; я грустно спускался с холма, оставляя позади себя этих ребят, увлеченных войной с предполагаемым противником, этих до мозга костей вояк, от которых я терпел столько насмешек; и там, среди пулеметных очередей и грохота снарядов, прорезавших пространство над верхушками деревьев соседней рощицы, там мои прощальные, уже гражданские залпы казались едкими и скорбными, как никогда.

Я вернулся в свою мастерскую, в затхлый мир льняного масла и скипидара, и сразу приступил к работе. Сначала в своих рисунках я подражал Гойе и Энгру, затем, еще не в силах освободиться от влияния депрессивного Клее, сомневаясь в себе, я увлекся сложностью техники и тренировал остроту зрения работой с натуры. Но за двенадцать месяцев военной службы я абсолютно разучился себя контролировать; теперь мои газы разлетались вовсю, и чтобы работать спокой-

но, я купил булльтерьера с кругленькими розовыми, я бы сказал, мареновыми, глазками, который служил бы мне алиби. Я назвал его Мазепой. И при всяком недержании я сухим и нарочито строгим голосом, покрывающим предательский звук, кричал на него: «Как ты можешь, Мазепа?», и он стал мне истинным помощником, особенно в присутствии мэтресс, которые разрывались между соблазнительным даром юного художника и своим отвращеньем к зверюге, чьи деяния казались им омерзительнейшими; в публичных местах — ресторанах, пивных, буфетах, барах — я все время бранил животное, быстро, однако, сообразившее, что после пятнадцати — двадцати попердываний и стольких же поношений оно могло отведать какого-нибудь лакомства, не изменяя своей британской сдержанности, при этом оно смиренно опускало уши и поджимало хвост, как бы придавая еще большую правдивость моим гнусным и ложным обвинениям.

В двадцать три года, промотав на такси и гулянки скудное наследство, что оставил после смерти мой папочка, я решил сам подзаработать деньжат. Своему расстройству обязан я созданием персонажа комикса, идеи, получившей отказ у многих издателей и воплотившейся, наконец, в бестселлер под названием Crepitus Ventris, реактивный человек,©Opera Mundi, этакий новый Бэтман, движимый собственными газами, которые я объяснял болезненными трещинами, и эти газы продолговатыми взрывчатыми пузырями выходили из его героического нутра, обозначенные мной исходя из моего собственного опыта: З-з-з-п! Пррш! У-у-ум! Пхууу! С-с-сш! Фрум! А-о-у-ум! Пррум! Фью-ю! Ффу-у-у! или Фи-и-ю-ю-ю! Но чтобы не портить себе карьеру живописца, я подписывал это псевдонимом Вудс Роджерс, который, будучи английским капитаном, написал в тысяча семьсот двенадцатом году книгу о Кругосветном путешествии, откуда я и взял заинтриговавшую меня тему; он открыл черный перец, названный малагеттой, способствующей изгнанию газов и предупреждающей колики. Таким образом, решив свои материальные затраты, я вернулся к живописи.

Я был уже виртуозен настолько, что чувствовал себя в состоянии зафискировать, как говорил Делакруа, рабочего, падающего с крыши, в тот момент, когда он начинает падать; но однажды, чтобы доказать себе свое мастерство, я принялся рисовать, одним касанием пера, тонкие швейные иглы с игольными ушками; особенно неистовый взрыв газа разбил стеклянный квадрат окна и заставил мою руку дрожать, как руку ребенка от удара током. Сперва я созерцал осколки стекол под ногами, затем, подняв глаза к рисунку, очарованный, замер. Моя рука сработала как сейсмограф.

При разборе сверкающая красота эскиза казалась навеянной действием какого-нибудь возбуждающего препарата — эфедрина, ортедрина, макситона, коридрана, и походила на электроэнцефалографи-

ческие кривые эпилептиков, кривые, чьи ритмические пароксизмы превосходно соответствовали особенно острым углам ломаной линии.

Возобновляя опыт, я положил китайское перо на вертикально расположенный лист бумаги в ожидании взрыва. Он оказался настолько внушительным, что кансоновский лист был прочерчен сантиметров на двадцать пять и даже порван в самом конце пути.

Я сопоставил эту линию с первой и должен был признать, что эффект моего опыта возбуждающе очевиден и поразителен. Он обеспечивал индивидуальность творчества, активно поощрял его и сулил бесконечность разнообразия. И это не было ни образом шизофренического бреда, выраженного хаотически и фрагментарно, ни отражением некоординированных чувств и восприятий, ибо рука моя не казалась полностью лишенной контроля, столь глубоко впитаны были мною эстетические основы школы рисования.

Итак, думал я во мраке ночи, безуспешно пытаясь заснуть, зловонные предвестники моей телесной смерти послужили возвышению всего самого светлого, живого и безнадежно иронического в сокровенных глубинах моего духа, и после стольких лет, отданных чистому ремеслу, стольких дней, проведенных в изгнании зловонья под сводами картинных галерей, откуда воспарял гений великих мастеров, эти крупные ломаные и кривые линии навсегда меня лишили самообладания.

На другой день я отбросил классический табурет и укрепил на вершине металлического треножника с помощью гаек и английского ключа велосипедное седло со спиральными пружинами, которые сообщали моему сиденью посредством механической передачи дополнительную широту движений и особенные колебательные свойства, а тридцатью днями позже я стал создателем *газограмм*, подписанных и пронумерованных от ноля до тридцати девяти, в том числе пятнадцать оттененных сепией; я решил показать их Герхарду Штольфцеру, одному из самых значительных на сегодня торговцев картин, который тотчас подписал со мною контракт, умоляя не менять стиль ни на йоту, дескать, вы знаете, что такое Соколов... в наше американизированное время... и вот, в феврале 19... года появилась афиша, насколько правильно я ее прочитал: Галерея Цумштеег — Хауптманн, Г. Штольфцер приглашают вас на вернисаж художника Евгения Соколова, который хоть и мало склонен выставляться, в настоящий момент, кажется, счел это необходимым.

Штольфцер представил его нескольким смазливым дамам, это глубоко раздразнило их собственные псевдоаналитические бредни, и, ловко развернувшись, он так хорошенько набздел им под нос, что зловоние, слегка подкрашенное запахом духов, весьма дополнило аромат их бокалов с шампанским.

Такой апломб и высокомерие могли бы только соблазнить их, но когда одной даме стало плохо, от моих ли запахов, или от окру-

жающей духоты, падая, она задела один из моих холстов, чье хрупкое стекло разбилось об пол и поранило ей левый глаз.

Дело было искусно раздуто моим торговцем, его особая, подчеркнутая, далеко не небрежная, почти ллойдовская уверенность обеспечила нам материалы в нескольких крупных газетах, придавших всему этому весьма эффективную окраску, включая авантажный фотографический портрет Соколова.

Вскоре критика заговорила о гиперабстракционизме, стилистическом постоянстве, формальном мистицизме, математической достоверности, философской напряженности, редкой эуритмии, гипотетически-дедуктивном лиризме, элементах мистификации, блефа и кака. Тридцать четыре моих произведения были раскуплены за пятнадцать дней, большей частью американцами, немцами и японцами, одна картина ушла в Сент-Томас Юниверсити Коллекшн в Хьюстоне, другая в Байерише Штаатсгемэльдезаммлунген в Мюнхене, и квота моя повысилась, как у орудия калибра 30,6 Оружейного завода в Сент-Этьенне, чей прицел — на двадцать сотен, а прорезь прицела — в зенит.

Такая брутальная слава привлекала ко мне юнцов, нежных, как апрельские цветы, изнывавших от преступных и подавляемых желаний, алчущих и страстных женщин, зазывавших меня на вечеринки, где мое алиби — пес так часто выручал меня, что я, благодарный, кормил его всякими лакомствами — дропсом, английскими конфетами, сливочной помадкой, все это в огромном количестве, и он уже толстел и мало-помалу попукивал; и только когда я посещал найт-клабы, я оставлял Мазепу в машине, ибо там я мог преспокойно пердеть под грохочущие басы электроаппаратуры. Я разве что избегал театральных и оперных премьер, куда не пускали собак.

Примерно в это же время у меня начались первые кровотечения, вероятно от длительной сидячей работы.

За тот год Штольфцер продал сто одно мое творение: восемьдесят три рисунка и акварели из серии газограмм и восемнадцать картин, в том числе одну — в Детройтский Институт оф Артс, две — в Модерна Мюсеет в Стокгольме, одну — в Мальборо Файн Арт в Лондоне, еще одну — в Арт Музеум Атенеут в Хельсинки, и, наконец, триптих — в Штаатсгалери в Штутгарте. Тогда же он устроил мне выставки в Галлериа Галатеа в Турине, в брюссельском Креди Коммюналь де Бельжик и в Юниверсити Арт Мьюзеум в Беркли.

У меня множество контактов с одним и с другим полом, ибо, отчасти из эгоизма, отчасти из боязни обнаружить свои недостатки, я не хотел к кому-либо привязываться. Я завоевал себе репутацию непостоянного, развязного и циничного соблазнителя, но, устав от общения с партнерами, хоть немного проникавшимися моими заботами, о Евгений, не потому ли я получал удовлетворение от call-girls и call-boys, которые возбуждались одной моей радостью, без внимания к

ним, маленькие толстушки и безусые юнцы, я принимал их целыми стайками, и бесчисленные пальцы этих ласкающих рук быстро унимали мою похоть.

Пассивный же гомосексуальный опыт показался мне мало интересным, и через двадцать секунд после введения я разрядил свою пусковую реактивную установку решительно и бесповоротно.

В этот период ветреного дендизма у меня был шестисполовинолитровый «бентли» со стальным гаррисоновским кузовом в стиле ретро, водил его мой слуга, отгороженный от моих эманаций внутренним стеклом и не имевший доступа в заднюю часть кабины.

Простой парень, этакая робкая и бесполая пташечка, он прерывал молчание, чтобы изредка поддержать мои туманные беседы об африканской магии и перевоплощениях.

Иногда я просил его остановиться возле парадного тамбура декадентского палаццо, куда я исчезал на ночь. Я блуждал по пустынным холмам, меча свои громы и молнии под коринфскими и ионическими сводами, или, сидя в баре, один за одним выпивал старые добрые коктейли: Lady of the Lake, Baltimore Egg Nogg, Too Too, Winnipeg Squash, Horse's Neck, Tango Interval, White Capsule, Corpse Reviver и мой любимый Monna Vanna и Miss Duncan в маленьком стаканчике-фужере, куда осторожно, в два равных слоя, наливали Cherry Brandy и зеленый Curacao, затем, шатаясь от алкоголя и сахара, я прислонялся к стенке лифта, мутно-зеленым глазом скользя по цифрам этажей.

По контракту, я должен был отдавать Штольфцеру ежемесячно пятнадцать рисунков, акварелей и картин, которые тот держал на чердаке с целью продажи, но однажды утром, пока я сидел перед третьим эскизом с рукой на бумаге в ожидании газов, пришедшее ко мне легкое волнение сменилось тоской: ни единого хамсина или аквилона не вылетело из-под меня. Всего лишь легкий ветерок, как сумеречный выдох, выпорхнувший из меня, а рука не сдвинулась ни на волосок. И на другой, и в последующие дни — одни лишь редкие сирокко, и накануне платежа я мог отдать торговцу каких-нибудь три наброска.

Я попросил отсрочку, которая дохода мне, увы, не принесла. Я решил строить свои газограммы, используя ловкость рук. Эта изнурительная работа отняла у меня целый день и полночи, но Штольфцер поглядел на них, покачал головой и, прежде чем хлопнуть дверью, отметил, что сие не стоит и пука кролика, — такая формулировка безнадежно развеселила меня до икоты, а затем я впал в глубокое отчаяние.

В свое время я бросил Crepitus Ventris, реактивного человека, который долго держал меня в неизвестности, и своей теперешней славой я обязан прихотям кишечника. Двумя днями позже я был разбужен выхлопом такой силы, что она повергла в ужас моего пса. Я быстро накинул халат и побежал к мольберту. Величественно и едва светало,

тишина была полная. Ожидание, увы, продлилось весь день, начало смеркаться, и я покинул колебаемое седло, но стоило мне встать на пол, как во мне разорвалась граната. Абсурдность и комичность этой ситуации оголили мои нервы. Мелькнула вялая мысль покачать себя велосипедным насосом; потом я решил ознакомиться с научными трудами, объясняющими мой недуг.

Я раздобыл следующие книги: W.A. Alvarez. Истерический тип негазового вздутия живота, A.F. Esbenkirk. Объем и состав кишечных газов человека; A. Lambling et L. Truffert. Современный состав кишечных газов, их состав при смешивании с воздухом; J. Rachet, A. Busson, C. Debray. Заболевания тонкого кишечника и брюшины; A. Mathieu et J.C. Roux. Болезни желудочно-кишечного тракта, их клиника и лечение; J.C. Roux et F. Moutier. Метеоризм при гастроинтестинальной патологии; A. R. Prevot. О кишечных газах, задачи бактериологии; A. Oppenheimer. О воздействии пост-гипофизарных экстрактов на газообразование в кишечнике — и углубился в их изучение.

Я определил точный состав моих газов, процент каждого компонента от общего объема в кубических сантиметрах: сероводород — следы; окись углерода — следы; углекислый газ — пять целых четыре десятых; водород — пятьдесят восемь целых четыре десятых; углеводород, переходящий в метан, — девять целых восемь десятых; азот — двадцать шесть целых четыре десятых; затем я проанализировал смесь воздуха с кишечными газами, кишечные газы в процентах от всей смеси: семь целых пять десятых — при нулевом выбросе; восемь целых шесть десятых — при замедленном выбросе; девять целых девять десятых — при слегка замедленном выбросе; одиннадцать целых четыре десятых. тринадцать целых две десятых, пятнадцать целых четыре десятых, двадцать четыре целых шесть десятых, двадцать пять целых восемь десятых, двадцать семь целых пять десятых — при немедленном выбросе; двадцать семь целых девять десятых — при слегка замедленном выбросе; двадцать восемь целых шесть десятых — при затрудненном выбросе; двадцать восемь целых семь десятых — при нулевом выбросе; наконец, я узнал величественные имена моих анаэробов, наиболее зловонных: Cl. sporogenes, Cl. sordellii, Cl. bifermentans, Pl. putrificum. Углубляя свои знания, я понял, что мой кишечник содержит определенное количество газов, выполняющих двойную функцию: уравнивание атмосферного давления и обеспечение и регулирование перистальтики; с другой стороны, физиологически, мои газы происходят из трех источников: газ, всасываемый из крови в кишечник, заглатываемый воздух и, наконец, газы, как продукты пищеварения. Первые два, на мой взгляд, имеют минимальное значение и играют слабую роль, и я занялся анализом газов, как продуктов пищеварения.

Небольшая часть углекислоты, вероятно, является результатом нейтрализации соляной кислоты щелочным секретом тонкого кишечника. В конечном его отделе нормальная микрофлора способствует расщеплению клетчатки, затем сахара и крахмала, а также процессам кислотного брожения и, наконец, выделению водорода, углекислоты и углеводорода; в то же время остальные микроорганизмы атакуют аминокислоты, выделяющиеся при пищеварении, или протеиновые секреты, что является процессом гниения, в ходе которого образуются аммиак, водород, метан, сероводород и углекислота. Брожение и гниение в слепой и толстой кишке, эти главные источники газов, кажутся мне важнейшей основой для определения режима питания и выбора диеты.

С болезненным интересом я выяснил содержание клетчатки в сушеных и свежих овощах, крупноволокнистых фруктах, свежем и черством хлебе, содержание крахмала в рисе и макаронах; я счел полезным употреблять с расщепленными протеинами: подпорченное, с душком, мясо, потроха, слегка несвежую рыбу, грибы, и после двух недель подобной слабительной диеты я заклеил «х»- образно окно мастерской клейкой гуттаперчевой лентой.

Вскоре яростно загремели мускусные выхлопы, беспрерывно затрещали автоматные очереди, скопившиеся газы неистово грохотали при свете дня, приглушенные мощными звуками Берга и Шенберга, в то время как рука моя носилась по бумаге, словно у меня был дрожательный паралич. Постепенно пространство наполнялось необычными ароматами, гнилостными испарениями, густым зловонием, галлюцинаторными миазмами, демоническими фимиамами, выделениями столь смрадными, что мне пришлось изощряться: я вспомнил, что где-то в подвале у меня лежал противогаз системы A.N.P. (обыкновенный защитный аппарат), использованный мною для натюрмортов в период увлечения кубизмом. С этого момента я видел свои перья, кисти и резцы только сквозь окуляры противогаза, который отделял меня, живую падаль, от всех запахов и от всего мира. Надень свою маску, Соколов, и пусть твои анаэробные брожения заставят звучать фанфары славы, а твои неукротимые ветра станут абсциссами и ординатами величественных анаморфоз.

Без моего ведома, за четыре года, у меня появилось множество сторонников, последователей и прозелитов в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Штутгарте, Амстердаме, Стокгольме, и все они, как один, признали меня главой гиперабстракционизма, слово, придуманное Якобом Явицем в преддверии моей первой выставки. Тут же нашлись историки искусства, которые оценивали влияния этого направления, оспаривали саму возможность его существования, отрицали подлинность моего исполнения и относили Соколова и его ответные монотонные бредни к области трагического застоя и движения вспять

современного абстрактного искусства, — словесные уловки, навалившие мне столько каррарского мрамора, что черта с два рагребешь, и чтение их я сопровождал энергичными мстительными миазмами.

Но вот что было важным для меня. Я был представлен в Тэйт Гэллери в Лондоне, в Ольстер Мьюзеум в Белфасте, в Берлинской Национальгалери, в Йейл Юниверсити Арт Гэллери в Нью-Хэвене, в Мьюзеум оф Модерн Арт в Нью-Йорке, Штольфцер продавал меня за бешеные деньги всем крупнейшим магнатам, и иные из моих газограмм беспечно болтались на стенах салонов фешенебельных яхт, где их рельефные серебряные рамки отражались в сверкающих стаканчиках, в коих бармены перемешивают лазурную воду плавательных бассейнов.

Дуй, Соколов, на этот блестящий и ничтожный мир, и в его зеркалах, испещренных твоими штрихами, предстанут нимфетки с надутыми губками, и пусть твоя вездесущность будет множественным отображением земных пороков. О Соколов, твоя гиперкузия заставляет дрожать твою руку. Посмотри, в окулярах твоей маски, запотевших от творческой болотной лихорадки, выстраиваются диаграммы и графики, и катодные осцилограммы извиваются и сверкают в атональных рядах Берга и Шенберга, чья додекафония так прекрасно соответствует твоим контрапунктическим газам.

Теперь уже кровь появляется при каждой дефекации, алея цветами на слоновой кости унитаза, но поскольку у меня был чисто эстетический инстерес к этим мимолетным рисункам, риск дальнейших осложнений — в которых я отдавал себе полный отчет, пройдя краткий курс медицинской патологии, — меня оставлял равнодушным. По правде сказать, убежденный в уникальности своей судьбы, я с трудом верил в неизлечимость болезни, и если меня порой и осеняла идея обратиться к практологу, я тотчас отгонял ее в страхе, что непременно наперму ему в лицо.

На момент повествования мой физический статус был не столь уж хорош, как могло показаться, хоть я и заботился о своей персоне, что, видимо, легко угадать в человеке, источающем такие инфернальные смрады. Я охотно пользовался банными кремами, лосьонами после бритья, тонкими и летучими одеколонами, экстрактами Comoran Ylang Ylang и Mygore Sandalwood, которые я выписывал из Лондона через фирмы Crabtree & Evelyn, Savile Row, иногда — густыми духами на основе животных масел, и тогда их смесь с запахом моих газов давала такой ужасающий эффект, что нередко вызывала у меня рвоту или тошноту. Я носил пиджаки узкого покроя, английского сукна, вполне классические, ибо я не хотел придавать себе этакий особый внешний вид художника, который иные столь охотно демонстрируют. Штаны — неизменно американские джинсы — я выбирал широкие, хорошо проветривающиеся. И ни единого аксессуара или драгоценной безде-

лицы, кроме шестиугольных часов, которые я носил во внутреннем кармане.

Можно было подумать, что на такой богатой белками и жирами диете я быстро располнею. Отнюдь. Заботливо сохраняя природную стройность, Соколов следил за своим весом, совершая длительные, быстрым шагом прогулки, где он становился псом, а Мазепа — хозяином. Мы бегали с ним вовсю, иной раз попукиванием — своеобразным сигналом тревоги — призывая знакомых собак, которым Мазепа наверняка запомнился тем, что орошал дымящейся струйкой автомобильные шины на стоянке и, визжа от радости, оставлял после себя маленькую конусообразную кучку.

Уставший от мира сего, я порой вылезал из своей мастерской, чтобы поесть в ресторане, где, в ожидании заказа, я мысленно засекал время, проводимое дамами в уборной: две минуты — мочеиспускание, два раза по тридцать секунд — напудриться и подкрасить губы, в тот момент все это казалось мне вполне серьезным; а после, невозмутимым взглядом моего пса, я оценивал степень их смущенности, обратно пропорциональную количеству отсчитанных секунд; в ресторанах я отдавал предпочтение домашней птице, рябчикам, куропаткам, диким голубям, глухарям, фазанам, уткам, куликам и вальдшнепам, поданным с тушеной капустой или желтой и красной фасолью, маслом или суассоном. Из сыров я никогда не заказывал «сливочный жирный»; «сара», «честер», «чеддер», «стилтон» и голландский «гоуда» для меня слишком острые, однако брал «конкийот», «жероме», «мюнстер», авенский «булетт», «ливаро», «маруаль» с аммиачным душком, «корсиканский» из Ниоло, старый «лилльский», мягковато-зловонный, и, среди всей этой мясомолочной тухлятины мои сигары, газы и — ближайшие соседи быстро находили контакт со мной еще более невыносимым из-за моего флегматичного молчания и невозмутимой физиономии.

Однажды вечером, пока я поглощал слегка несвежую куропатку, напрасно выдавая газы за отрыжку шампанским, вдруг слева от меня раздались каскады взрывов, их источником не был мой пес, сидевший возле моей ноги. Звуки напоминали стук лошадиных копыт при беге рысцой, а повисшее зловоние — таковое же перед самым калоизвержением. Этим сверхпердуном, расчленявшим в одиночку омаров, оказался мужчина лет пятидесяти, с худым, костлявым лицом, весьма элегантный, с которым я сразу завязал военные действия, и после начального короткого артобстрела последовали густые пулеметные очереди с его стороны и наступательные взрывы гранат с моей, но затем ответные залпы становились все более редкими, и, наконец, оба стратега вступили в переговоры и в итоге сошлись на перемирии. Так я узнал, что аналога моего зовут Арнольд Крупп, что он хирург по профессии и, кроме того, коллекционер полотен и гравюр современных

мастеров, что, помимо всего прочего, у него есть две работы Клее, три — Пикабии и новый Соколов. Я, пока что не желая разоблачать себя, чтобы не делать очередной доклад по гиперабстрактному искусству, представил ему Мазепу, а когда вновь усаживался на место, словно невидимая подушечка лопнула подо мной, изрядно попортив воздух.

Теперь, сидя в кафе, мы обсуждали течение «дада». Сюрреалисты были неподалеку, они тяготели к ликерам, а мы, гиперабстракционисты, к сигарам, которые раскуривали под звуки наших взаимных шквальных ветров. «Я думаю, — сообщил мне Крупп, — что два моих Соколова ложные». «Вульгарные электрокардиограммы», — уточнил он, излучая на меня свой проспиртованный взгляд. Я слегка улыбнулся. «Доктор, у вас, вероятно, газограммы номер сто и сто два, единственно выполненные Соколовым на бумаге, которой пользуются врачи-кардиологи». «Сто и сто два, — воскликнул Арнольд Крупп, — точно... точно! Я сразу подумал, мой друг, что вы...» «Я, — перебил его я (меня временно отпустило), — ряжусь человеком, чтобы быть ничем, Пикабией, Иисусом Христом Проходимцем», Я принял, однако, визитную карточку, которую мне протягивали с повелительно-сердечным видом, словно спрашивая, как эти скопления газов, коими так гордился сей мерзкий деятель искусства, не заставили его отклонить свой скальпель от столь тонкого оперативного вмешательства.

Осенью 19... года, под натиском Штольфцера, но не без удовольствия, я согласился поехать в Цюрих, чтобы выполнить серию фресок на стенах железобетонной резиденции, которую высоко в горах, возле озера, построил себе кинопродюсер Леви. Мне надо было пустить газограммы по стене громадного холла, в центре которого, в окружении колонн с замысловатыми капителями, находился баптистерий, и мозаичный пол его мог превращаться в танцплощадку. Этот восьмигранный бассейн пока еще пустовал, а эхо в пустынном холле, как производимое аудиоаппаратурой, прерывисто отлетало под гигантские своды.

Предвидя известную опасность, я добился от хозяина, — он усмотрел в этом каприз эксцентричного гения, — чтобы бригада рабочих «х»- и «z»- образно оклеила липкой лентой стеклянную крышу, под предлогом того, что иначе, в ущерб моему видению, исказится световая контрастность. Наконец, уверенный в том, что меня никто и ничто не отвлечет, кроме слуги — я поставил ему раскладушку в глубине зала, — Мазепы и моего собственного режима питания, я устроил себе качающееся сиденье и начал обрабатывать стену.

Вскоре, под грохот изгоняемых газов, многократно отраженный стеклянными сводами и мраморными плитами, мои черные линии принялись испещрять стены этой новой Сикстины с силою подземных толчков.

Однажды изумительное скопление газов позволило мне продвинуться на тридцать сантиметров, и, отойдя на два шага, про себя я отметил тонкость и изящество линии и со страхом почуял некую силу, заставившую меня содрогнуться. Я вернулся на место, и тут в поле зрения моей маски явилась маленькая девочка, сидевшая в глубине баптистерия и глядевшая на меня огромными недвижными глазами. Соколов пережил головокружение, которое едва не сбросило его с верхотуры. Я жалобно пукнул, сорвал противогаз, неуверенно переступил бортик купели и после вялых бормотаний спросил ее, кто она такая и что она здесь делает, но ее прекрасные нежные, под серебристыми локонами, черты оставались застывшими, как у манекена. Ломаным от стыда голосом я повторил вопрос, четко выделяя каждый звук, как бы смутно надеясь видеть в ногах у себя примитивное существо, но уголки ее губ медленно обозначили бледную улыбку. Сумасбродная идея посетила меня — открыть бы купельные шлюзы, но тут девчушка достала из кармана блокнот, написала в нем что-то и взглядом пригласила меня сойти к ней. Приблизившись, я сумел различить аккуратно выведенное зелеными чернилами: «Меня зовут Абигайль, мне одиннадцать лет». Секунду я стоял в нерешительности, а потом взял у нее блокнот и перо. «Ужасные запахи, которые вы, должно быть, слышите, Абигайль, относятся к сложному химическому составу моих красок». Возможно, точный смысл этого послания от нее ускользнул, но в этот момент из меня самого ускользнул ветерок балла в четыре, однако прелестное дитя улыбнулось столь милостиво, что настроение мое тотчас изменилось от «сепии» к «берлинской лазури», и постепенно, день за днем, пока она пользовалась пером и бумагой, а я — языком мимики и жестов, в нашем молчании, которое нарушалось поскрипыванием пера и выхлопом газов, рождалось таинственно-нежное и возвышенное чувство, и болезненные отголоски его я до сих пор храню где-то в области сердца и внизу живота. Абигайль теперь приходила ежедневно, садилась на мою кровать в глубине бассейна, ела там на завтрак сухарики или печенье, а по ночам я чувствовал, как под кожей у меня пробегают кончики ее детских зубов, обостряя мои преступные желания и вызывая в бессонницу приступы эрекции. Я показывал ей, как рисовать одним росчерком пера швейные иглы и чем менее заметным было ушко, тем сильнее она хохотала, беззвучно и как-то нервозно, и аплодировала мне, откидываясь на моем ложе.

Однажды ночью, в полярном холоде огромной залы, она обнажила предо мною свою гусиную кожу, и здесь, на этой походной кровати, под тусклым мерцанием звезд, я нашептывал этой глухонемой малышке слова любви, которые мне больше никогда не суждено произнести. Одновременно жуткие непристойности чревовещали из моего горла, пока в удушающем возбуждении и подспудных оргазмических попытках, разрывая тишину, билась подо мною маленькая Абигайль. Я

никак не мог кончить. Из страха недержания газов, скрутивших мое нутро в тот момент, когда я собирался испустить последний вздох и зловония которых я так боялся, плача и подавляя оргазм, я отпрянул от нее. И эти несколько грамм и миллилитров спермы проникли в мой мозг и образовали там болезненный инфильтрат, последствия которого я ощущаю по сей день в своих ослепительных flash-back'ах. Потом еще долго, изнурительно мастурбируя, я пытался удалить проклятый абсцесс из моего черепа, но ни разу тепленькое квашеное молочко не напомнило мне о том пылающем вечере. Наутро Абигайль пошла в интернат. Еще пару дней я наносил свои едкие линии, а затем покинул Цюрих.

Полгода после этого я не мог рисовать. Именно тогда, в период мануального бездействия, осенила меня грустная идея записывать газы на магнитную ленту, и первые прослушивания на аппаратуре hi-fi вызывали во мне два противоположных состояния: одно слегка размытое, другое вполне четкое. Первое явилось звуковой иллюстрацией к эскизам из Crepitus Ventris, реактивного человека, я видел своего героя в ореоле кучевых и перисто-слоистых облаков, анальным выбросом похожего на птицу-лирохвоста, вот он, выключая мотор, уходит в пике, газом вычерчивая горящие линии, ликованьем и светом затуманив мой взгляд, полный подводных галлюцинаторных видений, и вязкая влага порой раздувала опаловые сферы моих ноздрей, откуда тихонько выглядывал слизняк хризалиды. Будучи в обратном состоянии, я оказывался на симфоническом концерте и погружался в меломаническое отупение и столбняк.

Выйдя из крайностей, Соколов делал записи методом наложения, используя тубу, бас-тромбон, рожок и офиклеид, модулируя их звучание на свой лад под контролем давления в тонком и толстом кишечнике, — потрясная симфония, ведомая волшебной дирижерской палочкой, с партиями гаубиц и мушкетов из военной академии Вест-Пойнта, использованные при звуковом оформлении Виторианского сражения, до смерти выть заставлявшие Мазепу и подавшие Соколову идею множественных, последовательно выполненных газограмм.

Так рождались первые наброски, а затем этюды на тему «субъект, пораженный электрическим током», — ныне выставленные в Соломон Р. Гуггенхейм Мьюзеум в Нью-Йорке — этюды, из которых Штольфцер извлек материалы для новой выставки.

Тогда же я впервые позволил журналисту приблизиться ко мне: из-за шума во время интервью не были слышны звуки выброса газов, становившихся все менее и менее управляемыми. Вопросы репортера должны были казаться коварными: «Соколов, what is your political position about art». Раздраженный его наседаниями, я поначалу отделывался лаконичными фразами, дескать, меня мало волнует, имею ли я какое-то влияние на современную живопись, yes, of course, знакомы

суицидальные творения Шасберга, Кранца, Хегенольфа, Вогеля и других clowns, no, я не хвалю их чрезмерно; но когда он попытался обложить меня более коварными вопросами, я вдруг понял, что посетители обалдевают от злобного тона моих ответов. Чувствуя себя потерянным в наступившей тишине, я придал своему виду холодную строгость: «mister intellectual, — сказал я ему, — about my painting, let me just say this», и, отобрав у него микрофон, я живо поднес его к своей заднице, откуда извлек столь мощный звук, что казалось, фекалии поползли у меня по ногам. Удушенные запахом зрители аж попятились, а находившийся возле камеры звукорежиссер, чьи приборы блокировались более, чем тремя децибеллами, содрогнулся под этим газовым ударом, направленным ему прямо в мозг через контрольные наушники.

Американцы полностью отсняли интервью и целиком, включая пердеж, распространили его по всему свету, причем никто не отказался от трансляции, и многочисленные передачи воссоздавали цепочку событий, в которой мои газы возымели силу ядерного взрыва, потрясшего планету.

Газеты бушевали скандалом, усмотрев причину безумного гиперабстрактного искусства в кишечных газах, полотна мои покупались нарасхват по цене шестнадцать тысяч долларов за штуку, и Штольфцер энергично потирал руки. Я же, видя, что кровотечения день ото дня усиливаются, стал раздражительным, нервным и злым, меня одолевала бессонница, я гнусно вел себя со своим псом, которого держал на расстоянии пинка, пока однажды, сгорая от стыда, не обнаружил визитную карточку хирурга Арнольда Круппа, и тот рекомендовал меня, под чужим, разумеется, именем, своему другу проктологу, который при пальцевом исследовании нашел там громадные геморроидальные узлы.

Восемь дней спустя боли уже стали невыносимыми, и я решился лечь в клинику для интраректальной электрокоагуляции. На самом деле их было две, и теперь, лежа на больничной койке, я пишу эти строки в ожидании третьей.

Первая попытка, коей предшествовало быстрое исследование повреждений, окончилась взрывом, вырвавшим анускоп и электропривод из рук врача. Во время второй процедуры несколько прикосновений обошлись без эксцессов, зато последнее вызвало такой язык пламени из анускопа, что загорелся ватный тампон в руках медсестры, стоявшей немного поодаль, а лицо и борода ординатора оказались облепленными кусочками фекальных масс. Я узнал о случившемся по внезапному отскоку врача. Тут же я потерял сознание, пульс нитевидный, мне вводили кардиотоники и стимуляторы.

Все это было унизительно. Я решил покончить с моим жалким зловонным существованием. Сначала я подумал о веронале, но логичнее было остановить свой выбор на... кишечных газах. Я достал метровый резиновый шланг, сделал отверстие в маске противогаза,

просунул туда один конец шланга и закрепил его клейкой лентой. Другой конец, смазанный вазелином, я ввел в задний проход.

Ты прожил, Соколов, говорил я себе, ты прожил свою постыдную жизнь. Но что тебе бояться смерти, тебе, сумевшему за все эти годы лишь закодировать, запечатлеть навеки пророческой рукой свое собственное гниение.

Мой слуга, ему я обязан отсрочкой, нашел меня почти бездыханным на полу мастерской, когда я уже отходил, захлебываясь рвотной гущей, наполнившей весь противогаз вплоть до стеклянных иллюминаторов; я так и не использовал до конца хитроумности своей системы, ибо случайно и, наверное, из-за каких-то лишних движений, находясь в бессознательном состоянии, я упустил тот конец каучуковой трубки, что был введен перанально.

Затем последовала целая орхидейная серия — следствие маниака́льно-депрессивного психоза и того простого способа, которым пользуются женщины для снятия губной помады, и я после каждого стула промакивал межъягодичную складку листочком нежной бумаги. Я обходился пятью-шестью листками, чтобы начисто удалить следы экскрементов, а после окончательно протирал радиальные складочки моего кровоточащего ануса, зиявшего сообразно открытию внутреннего и внешнего сфинктеров, степени давления пальцев, выбросу или отсутствию газов и силе кровотечения. Однажды, поместив листы с запекшейся кровью под стекло, в окружение алого бархата и позолоченных рамок, я попросил своего гравера низким и строгим курсивом нанести заголовки новых творений — автопортрет один, автопортрет два, автопортрет три и так далее — на медные пластинки, прикрепленные к основаниям рамок, — заголовки, раздражавшие критиков больше, чем сами работы.

«Евгений, — сказал мне Штольфцер накануне вернисажа, положив предо мной на стол фотокопии оскорбительных рецензий в газетах, и я покосился на них: Соколов великолепный, Адонис Готтентот, Скарфас, судебная антропометрия, впавшие в дада, дерьмовые звездочки, — Евгений, я добился для вас официального заказа — роспись потолка посольства в Москве. Я знаю вашу неприязнь к путешествиям, но вы должны понять, что мы не можем отказываться от столь важного предложения. Подумайте о Третьяковской галерее.» И оставил меня ошарашенным.

Будучи газографом, я вижу себя непрочно сидящим в колеблемом кресле с вертикально поставленной рукой и лицом, запачканным краской первого взрыва, или же, если речь идет о моих последних разработках, то каким я должен быть воистину босховским акробатом, чтобы приблизить свою задницу к московскому потолку.

Решение осенило меня на заре, в одну из тех бессонниц, которыми я обязан все более лихорадочной боязни новой госпитализации.

Я обмазал двести пятьдесят листов глянцевитой бумаги смесью квасцов, алюминия и адраганта, аккуратно пронумеровал их на обороте, сделал столько же орхидейных отпечатков на туалетной бумаге и приложил листы друг к другу до полного подсыхания и, значит, готовности. После осуществления этих кровавых трансформаций Соколову достаточно переслать в Москву сию головоломку через ученика Школы Изобразительных Искусств и порекомендовать ему слегка увлажнять отпечатки прежде, чем наносить их на потолок, точно следуя порядковой нумерации, и, подержав несколько секунд, отклеивать.

Некоторое время спустя мне позвонил атташе посольства в Москве: «By the way, mister Socolov, what is the name of your painting». Я подумал немного. «Decalcomania», — ответил я между двумя пуками и повесил трубку. Едва я произнес это слово, Мазепа, как жестокий миметист, долго и мрачно отстрелявшись своими внутренними газами, лег на бок и испустил дух.

«Абигайль, — воскликнул я с глазами, горячими от слез, — пусть я не могу предстать перед тобою, нет, не со свирелью между ягодиц, этой чудной деталью садов наслажденья в Прадо, но с неким ультразвуковым свисточком, который первым же дуновением прорвал бы твою глухоту и ты вернулась бы ко мне маленькой собачонкой с...»

Тетради Соколова были найдены под его больничной кроватью одним ординатором через два дня после смертельного случая в ходе интраректальной электрокоагуляции вследствие сильного выброса кишечных газов пациента, повлекшего за собой массивный разрыв сигмовидной кишки.

Здесь еще кое-что заслуживает внимания. Во-первых, то, что разрыв произошел не после первой электрокоагуляции, но лишь после третьей, то есть было время для вентиляции ректальной ампулы. Внутрибрюшной выброс не был сиюминутным, как можно предположить, о нем уже говорило появление непрерывных кинжальных болей. Боли в области таза появились чуть позже и усиливались стремительно. Не доводя до обмороков, боль продолжалась несколько часов, как при почечных коликах, с фазами расслабления, во время которых больной засыпал. В данном случае она была настолько переносимой, что понадобился авторитет врача, чтобы убедить пациента поехать в клинику. Состояние его позволило сделать контрольную анускопию, которая не выявила ни явного дефекта слизистой, ни следов крови. Кстати, тотчас после случившегося живот его не был вздут, напротив, он оставался мягким и плоским в течение трех с половиной часов. Не было и симптоматичности шока, лицо обычной окраски, с небольшим румянцем, пульс удовлетворительного наполнения, слегка ускорен, дыхание спокойное.

Соколов, со слов его слуги, велел передать Штольфцеру записку в день своего погребения, которое он чувствовал неминуемым вскоре.

Резко наступило ухудшение, и появилась неоспоримая картина перитонита. В три часа утра больного прооперировали. Разрыв сигмовидной кишки, шестнадцати сантиметров в длину, с неровными краями, был зашит. Сгустки крови обнаружены на брюшине, по всей поверхности брюшной полости — огромное количество каловых масс, вплоть до области печени, и это не оставляло надежды. В итоге Соколов скончался через тринадцать часов после оперативного вмешательства, через двадцать часов после смертельного случая, налицо — симптоматика гипертоксичного перитонита, тяжесть которого усугубилась черной рвотой тотчас после полудня, несмотря на кратковременную утреннюю ремиссию.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие повреждений, обнаруженых в ходе операции, а также правильность выбора степени и вида терапевтической коагуляции геморроидальных узлов.

Через два дня, как только один из могильщиков бросил первую лопату земли и, следуя последней воле художника, им изъявленной в записке, Герхард Штольфцер закурил сигару, водородно-кислородная пламенная взрывчатая смесь отозвалась глухим звуком хлопнувшей крышки гроба. Евгений Соколов испустил свой последний вздох, последний посмертный и ядовитый свой выхлоп в память о людях.

Пер. с французского Евгения ПАШАНОВА
под ред. Р.МАКАРОВА

ОТ РЕДАКЦИИ

Серж ГЭНСБУР (1928-1991, настоящее имя Люсьен ГИНЗБУРГ).

Сын беженцев из России, он отбросил свое имя: «Мне не нравится Люсьен — «Люсьен, мужской парикмахер»». Поэт, композитор, шансонье, актер, режиссер, фотограф, он стал одни из столпов французской культуры XX века. Вынужденный при нацистах носить желтую звезду, он так и остался изгоем, призывая на свою голову тернии и лавры — цинизмом, необузданными сексуальными капriччиос, апологией инцеста, многоженства, однополой любви, черным юмором, алкоголизмом. Но когда он умер, его оплакивала вся Франция.

«Евгений Соколов» — первая публикация Сержа Гэнсбура в России. Но теперь, надеемся, наши читатели запомнят это имя. А также имя переводчика — Евгения Пашанова.

МУЖЧИНЫ.

Рисунки Бориса ЖУТОВСКОГО.

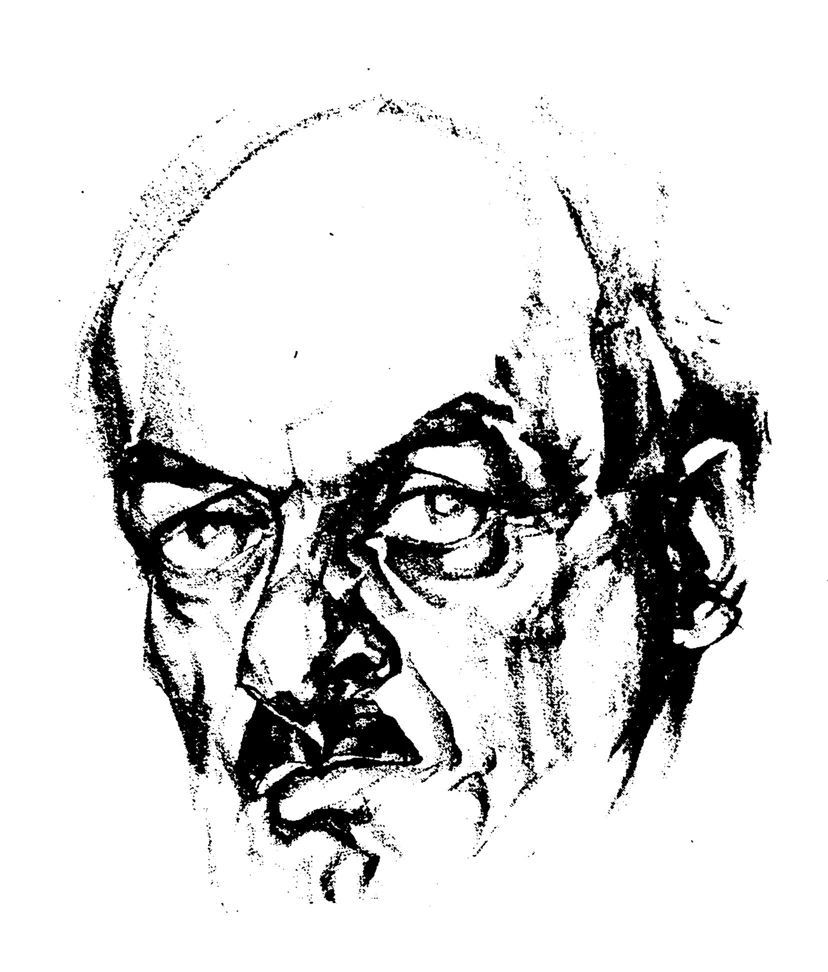
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ, скульптор
Наум КОРЖАВИН, поэт
Булат ОКУДЖАВА, поэт, прозаик
Микаэл ТАРИВЕРДИЕВ, композитор
Армен МЕЛИКСЕТОВ, востоковед
Вагрич БАХЧАНЯН, художник
Мирон ГОРДОН, дипломат
Всеволод БРОДСКИЙ, художник
Ицхак АВЕРБУХ, сотрудник ДЖОЙНТ
Виталий ВОЛОВИЧ, художник

ЖЕНЩИНЫ.

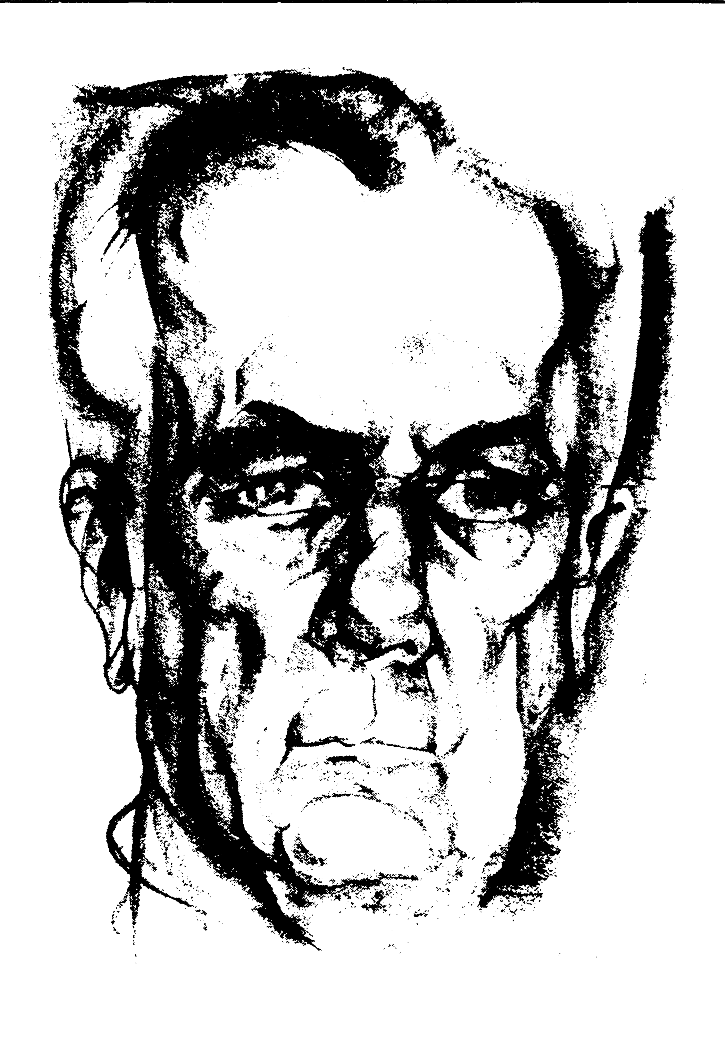
Рисунки Михаила ПОЛАДЯНА.









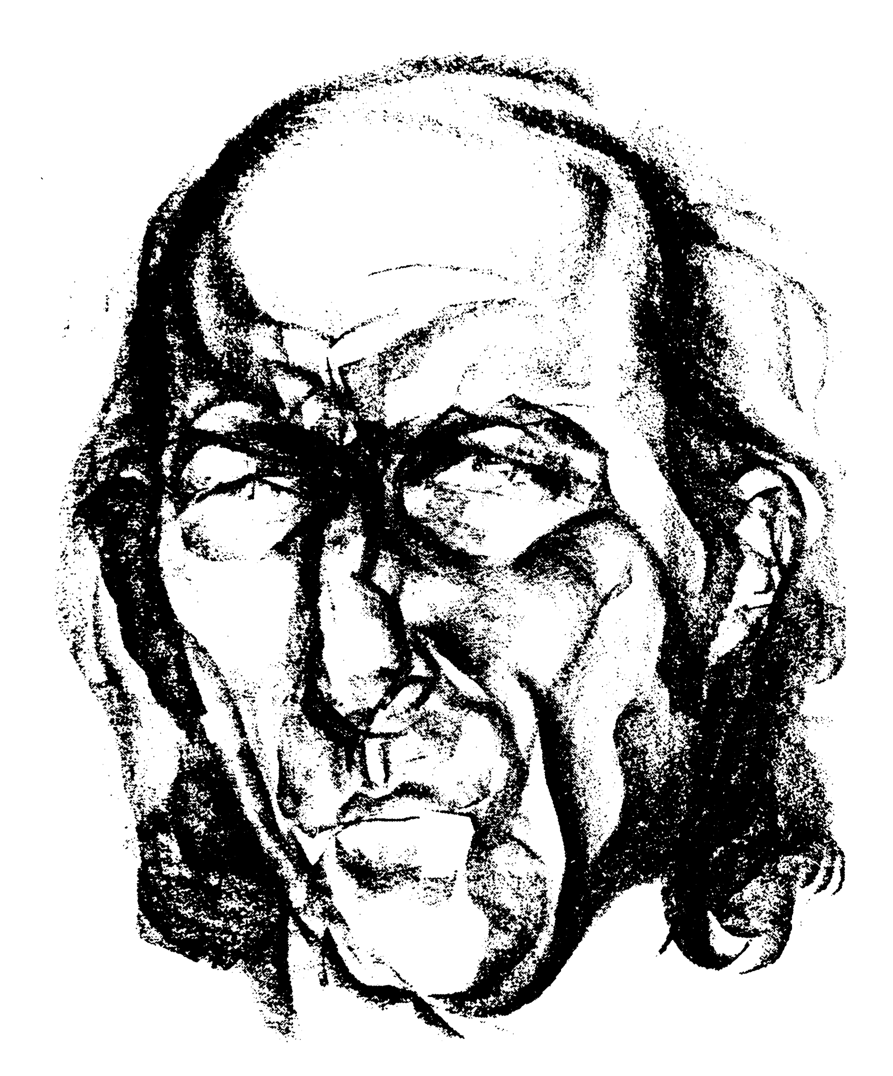


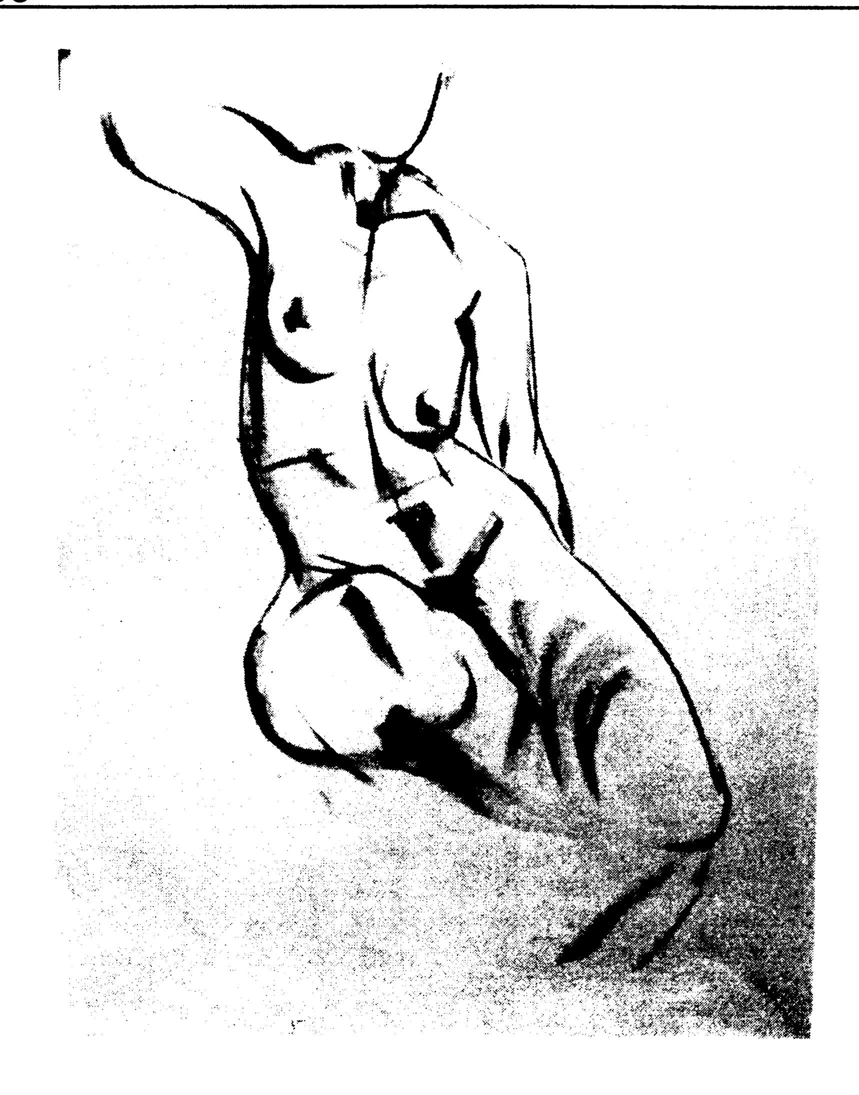


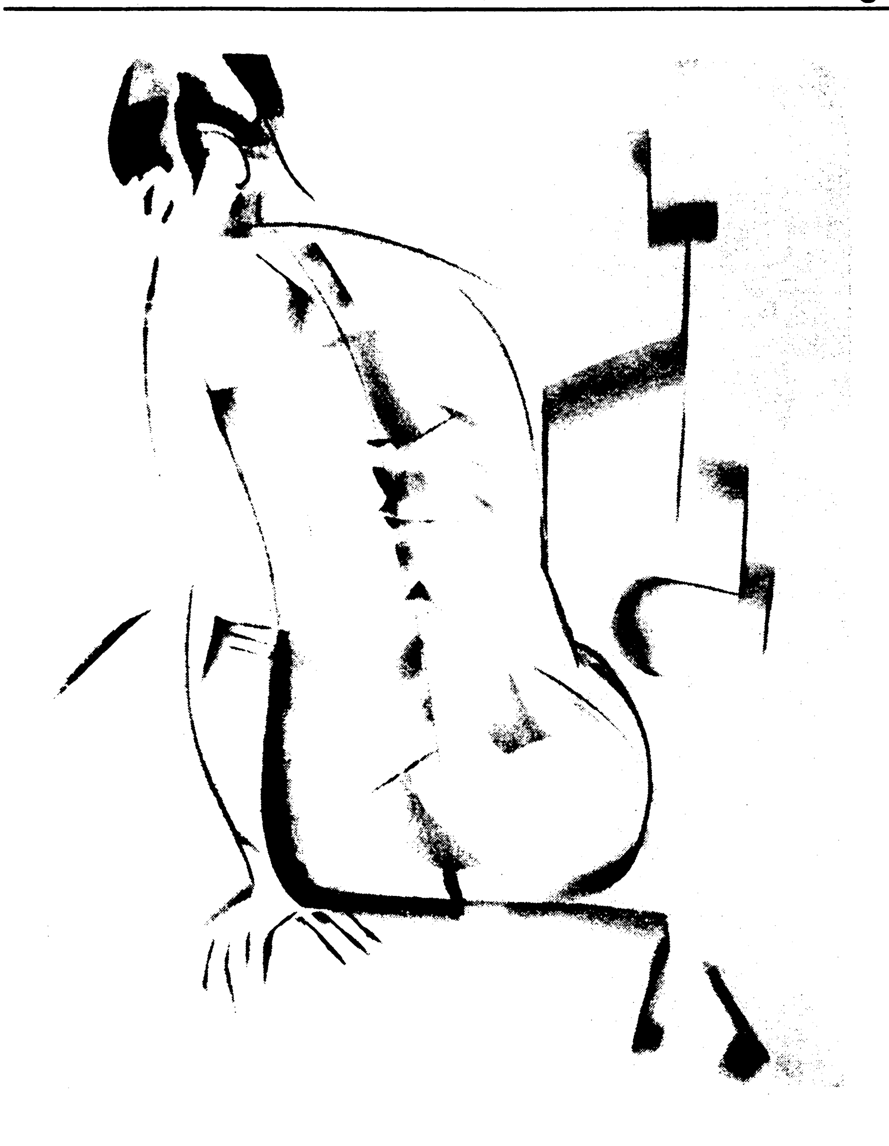


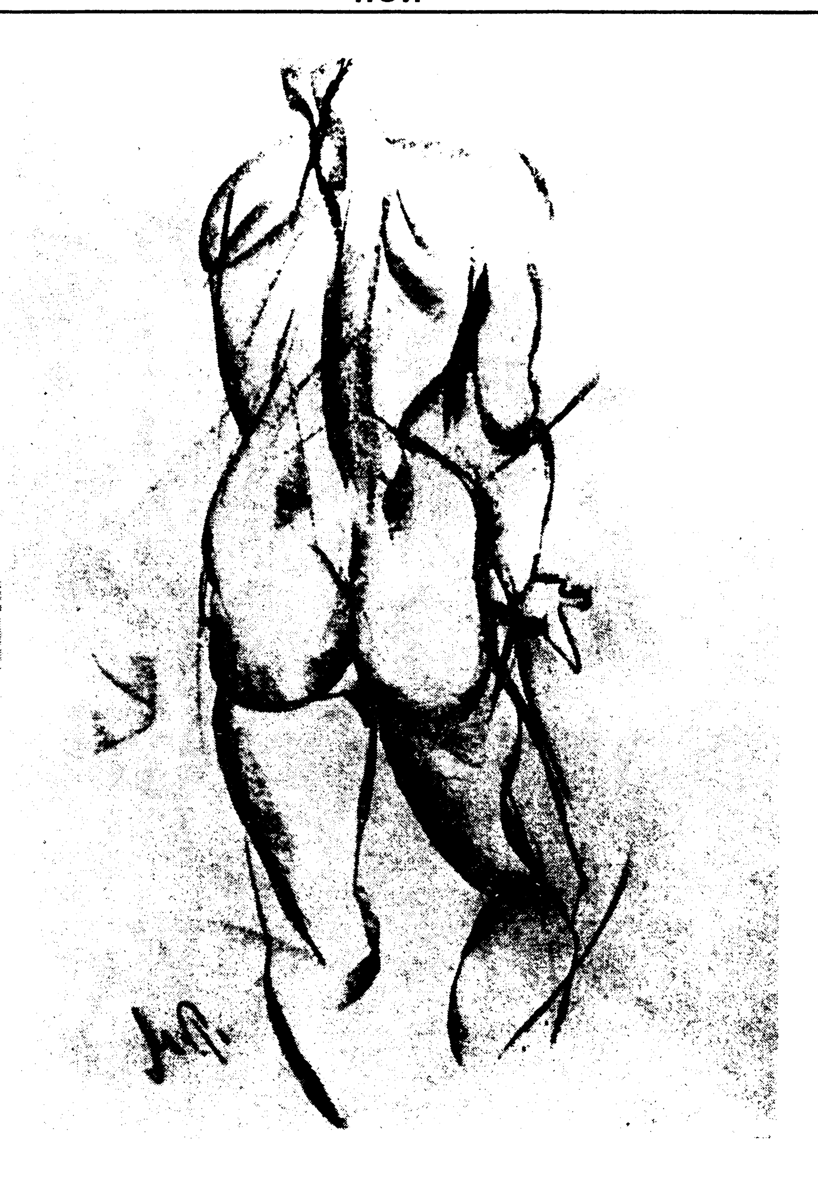


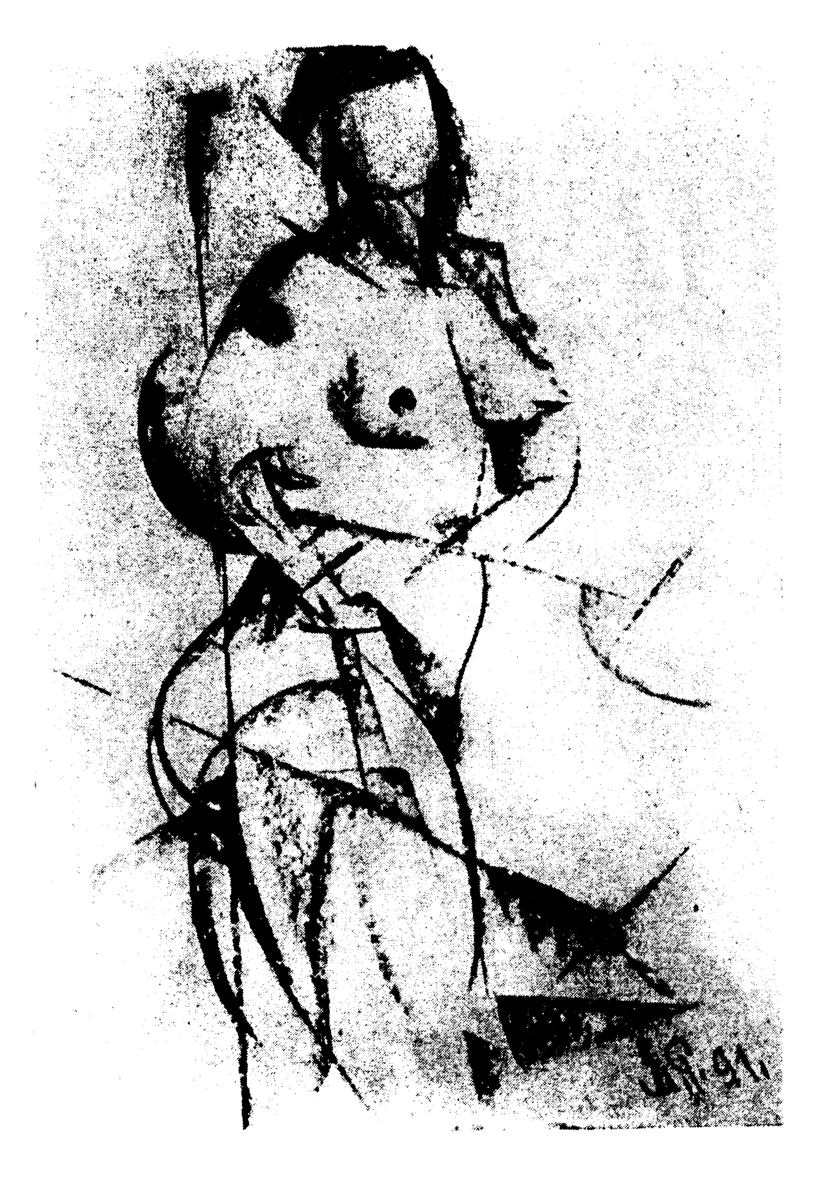


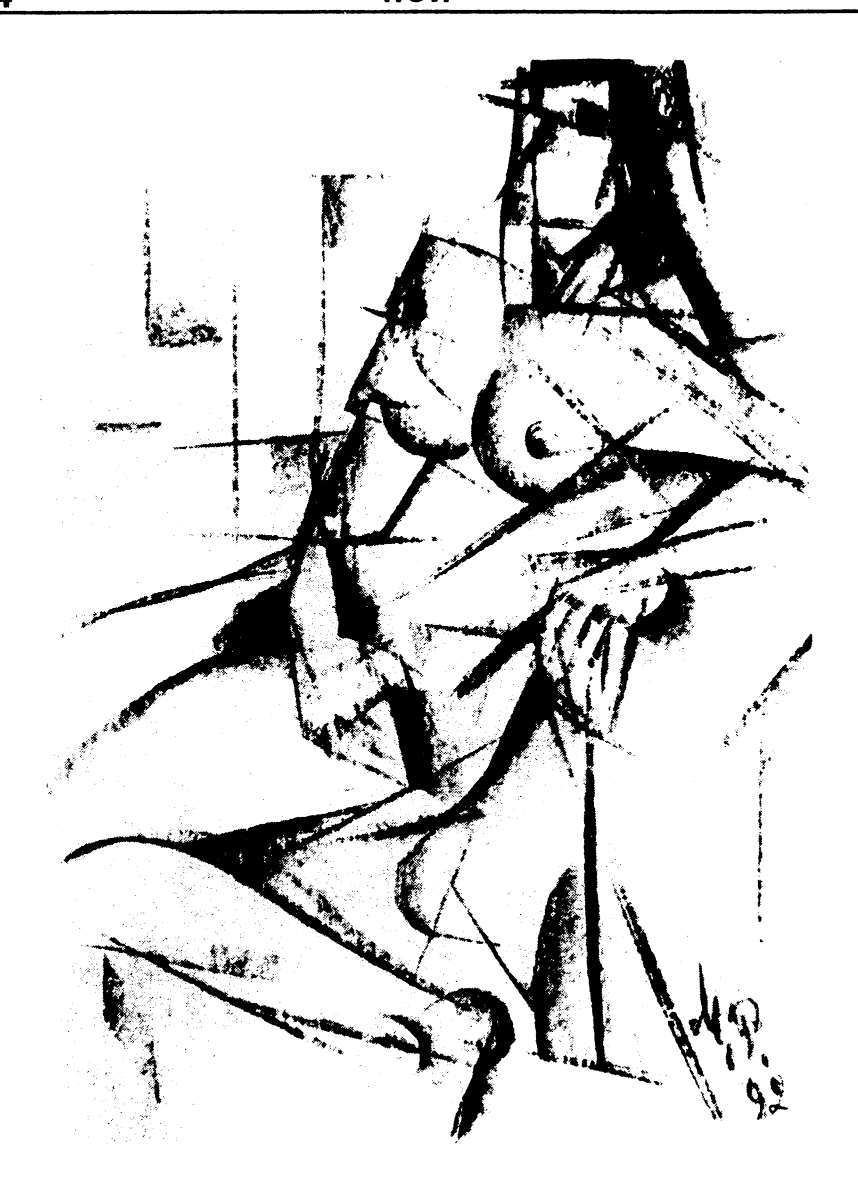








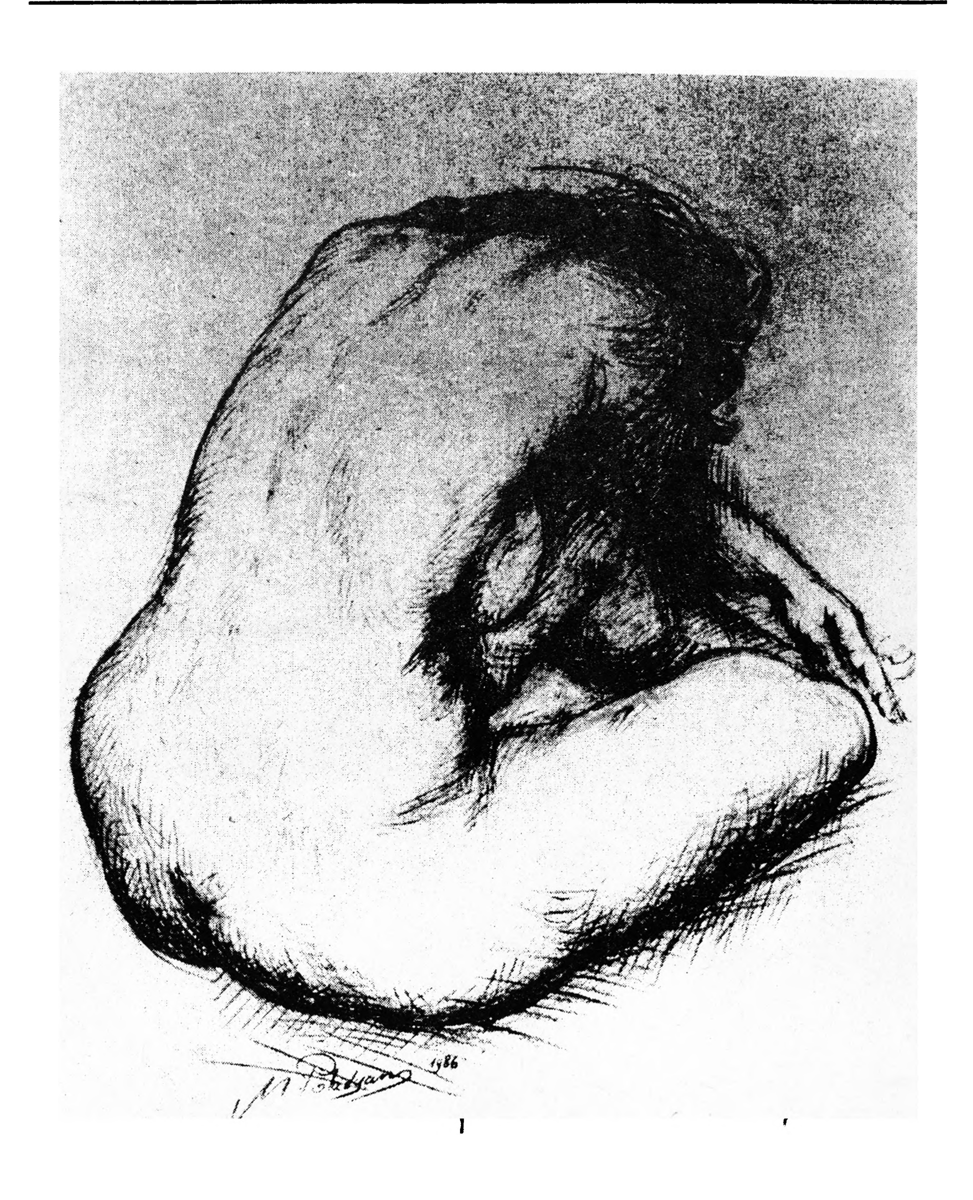







Sevan
94





Хельга МЕРЛИН

МИХАИЛ ПОЛАДЯН. МАТЕРИАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ.

«Я чувствую материалы, они заменяют мне краски. Все, что сделано руками человека, плюс фактор времени, патина, манит меня и завораживает. Это я и называю материалом. Он говорит мне многое. Я читаю его историю и ощущаю его во всех взаимосвязях и взаимодействиях».

Материальные коллажи и объекты Михаила Поладяна имеют некий символико-религиозный смысл, они исполнены в стиле древней русской иконописи. Их воздействие необычайно сильно, вероятно, потому, что они — создание величайшей интуиции.

«Я больше чувствую, чем знаю» — таково политическое кредо этого художника, русского нонконформиста. Его символы выполняют двоякую функцию: они препятствуют торжеству формального в его работах и ведут к возникновению, часто неявно, религиозной темы.

«Чарующая сила природы и гармония мироздания вызывают у меня чувство восторга и преклонения, они питают мое искусство, мои мысли». Ориентация Поладяна на чувственное восприятие, его понимание бытия легко угадывается в его произведениях, которые «инсценированы» с большой теплотой и фантазией; для своего религиозно-философского взгляда на жизнь он находит множество самых разных способов выражения.

Творческий путь Поладяна, армянина по происхождению, начался в Москве. Здесь он родился (1938), здесь он представлял неофициальное русское искусство. Этой неофициальностью, вероятно, можно объяснить драматические элементы в его композициях.

Окончив Академию художеств, он вновь учился — на художника-декоратора, работает оформителем в кино, театре, на телевидении и, наконец, реставратором икон и фресок в Московских Центральных реставрационных мастерских.

В 1977 году эмигрирует в Западную Германию; культурная политика советской власти все больше и больше подавляла его творческие возможности. Сейчас Поладян живет в Германии, он — член Союза художников. Несколько лет преподавал в художественной школе в Мюнхене. Сейчас он — свободный художник.

Коллаж возник из синтеза кубизма, когда возникла задача не «расщепления», а построения нового, создание новых форм с помощью «неживописных» материалов, что вело к разрушению традиционной привязанности искусства к «отображению» и к возникновению самостоятельности художественного объекта.

Барельефы и фотомонтажи с их подчас абсурдной символикой, напоминающей дадаистов, были реакцией художника на изменившуюся социальную действительность. Они были отрицанием всего застывшего и установленного, выражением протеста против мрачного рационализма. Миф, который Курт Швиттерс использовал в своих «Merz-Bildern», он отклонил, хотя выставка работ Швиттерса в Ганновере, которую он посетил сразу же по приезде в Германию, произвела на него сильное впечатление. До известной степени можно говорить и о влиянии Швиттерса на Поладяна.

Декоративные композиции Поладяна — фантастичны и таинственны, его мастерски исполненные аллегории, дополненные реальными элементами, ошеломляют и тревожат. В них есть что-то от трагедий и страданий армян. Его предки стали жертвами геноцида.

Несмотря на плакативность работ Поладяна, несмотря на его сосредоточенность на человеческих страданиях, его творчеству чужда безысходность. Так, пытаясь изобразить разрушение армянского собора, он из лоскутков материи строит силуэты, символизирующие будущее возрождение храма. Этот коллаж зримо показывает возможности выразительных средств Поладяна — всякое разрушение таит в себе еще и созидательное начало.

«Почти все художники для людей — нечто вроде зеркала», — говорил Поладян. Тем самым он полагает, что искусство не должно объяснять или учить, оно должно притягивать зрителя, побуждать его на поиски своих ответов на свои вопросы, будить в нем фантазию и эмоции. То неуловимое, загадочное в его материальных коллажах, что иногда представляется наивным и ребячливым, как, например, вмонтированные в дерево предметы быта, проистекает из его глубокой убежденности, что гармония мира есть закон жизни: «Жизнь для меня — чудо. Чудо, что меня окружает природа. Чудо, что есть небо. Чудо, что есть я и другие люди. Они — не песчинки, и я — не песчинка в этом мироздании, я ищу его гармонию в каждом его миллиметре».

Оригинальность художественной манеры Михаила Поладяна сравнима с искусством рассказчика, его насмешливость — с литературной шуткой (анекдотом), свое жизнелюбие и уважение к человеку он свидетельствует цветом, формой, настроением. Он преследует цель — пробудить человеческую фантазию — так, чтобы и он (художник)

испытывал ее обратное воздействие. Разнообразие тем связано с его жизненными впечатлениями. Так, после поездки в Шри Ланку он создает материальные фрагменты мистически-декоратиного характера — это был результат его знакомства с иной, поразившей его культурой.

Категория времени для Поладяна — существенный компонент при создании его материальных произведений. Его интересуют вопросы забвения, недолговечности, изменчивости, а также примирения. Для него важно понятие «патина», налет времени на предметах, он делает его зримым в своих работах. Для Поладяна «время — лучший художник». Так, во всех его аллегориях присутствует тревожащая душу патина. Время — художник, время — его соавтор. Противоборство материала и содержания придает его коллажам большое очарование. Одна из его аллегорических материальных композиций представляет как бы временные рамки человеческого бытия и словно вопрошает зрителя, понимает ли он ограниченность во времени бытия человеческого и как он к этому относится. Среди многих экспонатов выставки привлекает внимание барельеф, нечто вроде воспоминания о московских друзьях, автографы артистов, музыкантов, поэтов, диссидентов, исчезнувших навсегда из жизни, убиенных. Содержание барельефа — «ландшафт одной жизни во всех ее взаимосвязях», примирение с бренностью всего сущего.

В композициях Поладяна нет ничего случайного. Все его реквизиты заранее вычерчены, продуманы и выполнены в зарисовках. Материал — отправная точка его работ. «Теперь я хочу попробовать наоборот, что, конечно, намного труднее. Но ничего, попытаюсь».

Как он осуществит свой новый замысел — неизвестно. А пока остается лишь сказать: в работах Михаила Поладяна, совмещающих жизненные пространства и мир чувств, фантазия материализуется; вера, мечта и повседневность сливаются в гармоничное единство, «инсценированное» художником.

Мюнхен, октябрь 1995

Пер. с немецкого Лили Поповой.

Ицхокас МЕРАС

ОАЗИС

рассказ

В яму углом опустили носилки, на которых лежал этот человек.

Могильщик, мужчина средних лет с небритым смуглым лицом, принял носилки, опустил свой край на дно ямы и снял с мертвого талес. Неторопливо сложил, подал другому мужчине, стоявшему у края ямы.

Куда его потом девали, я не видел. Может, потому, что слеза, словно попавшая в глаз соринка, саднила веки и мешала смотреть.

А может, нет.

Может, потому, что впервые в жизни я наблюдал за могильщиком.

На этом кладбище я бывал не раз, но никогда не смотрел, как опускают в могилу умершего. Закрывал глаза или отворачивался, осматривался, пытаясь понять, что же это такое — кладбище.

Оно раскинулось на ровном месте, большое кладбище, обнесенное каменной оградой. За оградой — песок желтый, слепящий, там, подальше, сметенный ветрами в невысокие дюны, а за дюнами — море, но моря отсюда не видно и, странно, даже шума волн не слышно, хотя море и недалеко, может, это дюны скрадывают звуки, а может, так уж оно бывает, потому что на кладбище должна царить тишина.

На той равнине, широкой и еще не заполненной, зелеными озерами разливались газоны, одинаково свежие, ровные, ухоженные. Росли и деревья — невысокие сосны, и кусты — то там куст, то здесь, и цветы, — Господи, каких только красок здесь не было, самые разные, местами кусты сплошь были покрыты цветами, словно гигантские букеты — фиолетовыми цветами, и розовыми, и красными, и даже светло-светло-зелеными, почти желтыми цветами, но всегда, когда я отворачивался от могилы и, отвернувшись, оглядывал кладбище, меня ослеплял одинаковый светлый цвет, словно ничего больше не было вокруг, только песок, всегда такой слепящий на солнце, как ослепительный снег.

Я не смотрел на могилу, потому что непривычно было, когда хоронят человека без гроба, бросают, спеленутого простыней, в яму, заваливают землей, — нет, не мог я к этому привыкнуть.

Я знал, что человека, если он умирает, укладывают в гроб, и он остается так лежать, больше не поднимается — обмытый, чисто обряженный, со сложенными на груди руками, закрытыми глазами, словно он спит и ничто больше не тревожит его.

И когда все простятся с ним, гроб закрывают крышкой.

Потом, на кладбище, его осторожно опускают в могилу и стараются, чтобы гроб не накренился, чтобы умерший остался лежать в покое, как лежал, и когда земля комьями посыплется вниз, ударяясь о крышку гроба, уснувший вечным сном остается лежать нетронутым, защищенным крышкой, и только на миг звук сыплющейся земли потревожит его, а его тело, вытянувшееся во весь рост, удобно, все еще окутывает воздух, принесенный из мира живых.

И не давит потом ни могильный холм, ни памятный камень.

Я обычно не смотрел в яму, если человека хоронили без гроба, потому что всем телом чувствовал, как прикасается, обсыпая тебя, песок, как давит грудь, забивает рот, ноздри, зажимает глазные яблоки, давит и душит. Страшно было, что тебя душат и ты вот-вот задохнешься.

***

На этот раз я наблюдал за могильщиком.

Передав другому мужчине сложенный талес, он широко расставил ноги в могиле, чтобы стоять твердо и удобно, и взял мертвого за плечи.

Я ощутил на своих плечах жесткие ладони могильщика и вздрогнул.

Под белой простыней, туго спеленавшей тело, ясно вырисовывались округлые плечи человека, его нос, впалая грудь, локти, пальцы рук.

Я никогда раньше не знал о его существовании, только недавно, ранним утром, когда чуть брезжило, после долгой ночной дороги из Европы в Малую Азию, после четырехчасового пути, длившегося целую вечность, я впервые увидел его, маленького человечка, терпеливо прождавшего меня всю ночь только для того, чтобы произнести четыре слова:

— Я друг твоего отца.

Как будто отец еще был в Азии, или там, в Европе, или, может, в каком-то другом месте, как будто он еще был после того, как мы виделись в последний раз там, на въезде в старинную усадьбу, в трехъярусной белой башенке под высокой, крытой красной черепицей крышей, куда мы с матерью тяжело поднимались по каменным ступеням, до третьяго яруса, и его вывели из камеры, и я увидел его таким, как всегда, только в очках от правого стекла торчали осколки, а глаз за ними был залеплен тряпицей.

Он не спросил, как мы живем и где, не погладил меня по голове, только достал из-за пазухи свои круглые карманные часы с серой крышкой и длинными тонкими стрелками, таких теперь уже не делают, — и сказал:

— Это тебе.

Я протянул руку и дотронулся до кожаного ремешка, свернувшегося рядом с часами на ладони отца, — тогда еще не зная — а отец уже знал, — как я буду жаждать этой серой вещицы позднее, через год, через десять, через тридцать лет и еще Бог весть сколько я буду мечтать об этих серых часах, каких теперь уже не бывает.

Но охранник сказал:

— Нет.

И не видел я, как отец лег в могилу и как его засыпали землей, и не знаю, кто был его могильщик.

А если бы видел, и меня бы в землю положили.

***

На этот раз я наблюдал за могильщиком, видел, как он обхватил ладонями плечи умершего, а сам широко, насколько позволяла яма, расставил ноги, чтобы иметь упор и не потерять равновесие, поднимая этого маленького человека, спеленутого простыней.

Не так давно говорили с ним по телефону.

Была Пасха.

— С праздником, — сказал я.

— И тебя.

— Желаю здоровья.

— И тебе. Как живешь?

— Спасибо. Хорошо.

— Навести меня.

— Непременно.

— Давно не виделись.

— Замотался я.

— А ты приходи.

— Конечно.

— Хочу тебе кое-что сказать.

— Обязательно.

— Не откладывай.

— В ближайшее время, да.

Не успел, замотался. А может, и не потому.

Видимо, неинтересно было, что он хотел мне сказать, хотя, может, это и было что-то важное. Не было и потребности увидеть его, достаточно было знать, что он есть, где-то рядом, почти рукой достать: «Я — твоего отца...»

Мне позвонили в день похорон, потому я не видел его мертвым.

А ждал я в тот момент звонка из другого места, совсем из другого. Женщина должна была мне позвонить. Этого звонка я ждал всю жизнь. Услышал незнакомый мужской голос, говоривший представился двоюродным братом этого человека, «вечная ему память...»

— Что?! — спросил я.

— Да, — ответил он.

— Когда?

— Вчера.

— Почему? — хотел я спросить, но не спросил.

— Через два часа похороны.

— Да, — ответил я и осторожно положил трубку.

Я забрался в глубокое кресло, свернулся в клубок и сидел неподвижно, и не подходил к телефону, хотя было несколько звонков, и звонили долго, а потом натянул берет, хотя было лето и стояла жара, сел в машину и включил фары, хотя был день, и поехал на кладбище.

***

Он был такой же невысокий, как мой отец, он даже, может быть, чем-то был похож на отца.

Могильщик, крепко обхватив за плечи, поднял и усадил его.

Мужчины, стоявшие у края ямы, вытащили наверх носилки, на которых он до сих пор лежал.

И этот мертвый человек, закутанный в белую простыню, сидел, и еще яснее обозначились его круглые плечи, голова, впалая грудь, руки и пальцы на руках.

Я все еще чувствовал на своих плечах ладони могильщика, но все равно не мог понять, как может сидеть мертвый, который сидел, я сам это видел, как он может сидеть, если вчера он умер, а сегодня его несли на носилках, закутанного в простыню, укрытого талесом, и он был неподвижен, и я стоял под каменным навесом вместе со всеми, под тем самым навесом, что словно ворота, порог в мир иной, где носилки с умершим ставят на низкий каменный постамент и читают последнюю молитву, и освобождают человека от всех обязательств и повинностей, и прощают его, и просят у него прощения. И эта последняя молитва — «Кадиш».

Я никогда не знал этой молитвы, не понимал и не пытался понять, хотя она и была записана в моем гимназическом альбоме.

В этом альбомчике друзья и подруги по школе, учителя и учительницы писали мне на память разные слова. Будь честным! — Будь справедливым! — Люби меня, как я тебя! — Не забудь меня! — Жизнь — это сцена, — розочка, — незабудка, — Ты... Тебя... Я тебя...

Один еврей, крещенный во время войны, да так и не снявший крестика с шеи ни после войны, ни позднее, — вписал в мой альбом «Кадиш» — на одной странице на святом языке, а на другой — латинскими буквами, но я все равно не понял смысла этих слов.

Теперь, у края могилы, рядом с низким каменным постаментом, на котором лежал этот человек, завернутый в простыню, я, услышав последнюю молитву, впервые осознал эти слова: «Да снизойдет с небес мир и жизнь для нас... Творящий мир на небесах да сотворит мир и среди нас...»

***

Он сидел, как живой, только окутанный простыней, и я, преодолевая страх перед смертью, ждал, когда он встанет, откинет простыню, поднимется из ямы и зашагает прочь от своей могилы, прочь от кладбища, потому что он был частью моего отца, частью меня самого.

А когда он встал и пошел — кругом, другой дорогой, чем был принесен, как и полагается живым по древним обычаям, — я пошел следом за ним.

Авторизованный перевод с литовского Софии ШЕГЕЛЬ

«Новости недели», 16 декабря 1994 г.

Шамай ГОЛАН

КИПАРИСЫ В СЕЗОН ЛИСТОПАДА

рассказ

Памяти Ривы и Моше Бен-Дрор

1.

Каждый день усаживался Бахрав за свой громоздкий стол и принимался сортировать марки. Заскорузлыми короткими пальцами брал их по одной и раскладывал в кучки. Очки сдвинуты на лоб, серые, со стальным отливом волосы нависают над глазами. Не так давно побывал он в городе. Представил товар Шейнману, торговцу марками. Если рассортируешь, пообещал Шейнман, можно будет оценить. Тридцать пять лет собирал их. Первые десять лет погибли в войне за независимость. Снаряд угодил в их дом в тот час, когда сам он оборонял южную позицию возле колодца. Двадцать пять лет, минувшие после той войны, кое-как, без всякой системы и порядка, запихнутые в картонные коробки, были свезены в город. Теперь он раскладывал их соответственно возрасту и ценности. Они чем старее, тем делаются дороже, — ухмыльнулся Шейнман искусственными своими зубами, — не так, как у людей. На Шейнмана можно положиться. Коротышка эдакий, голос низкий, руки проворные. Сорок лет в своем деле. Бахрав получит у него приличную сумму.

Хочется сделать сюрприз дочке, Шароне. Он привезет ей кучу денег. Может, они предложат ему остаться у них в Иерусалиме. С Гершоном и внуками. Он ничего не рассказывал ей о своих планах. И в письмах не упоминал. Никому ничего не рассказывал. У распределителя работ попросил день отпуска и выехал в город тем автобусом, который на рассвете доставляет рабочих. Яблонский, сосед по квартире, с подозрением уставился на чемодан. И Этка, экономка, тоже глянула искоса.

Только когда шофер завел мотор и выехал из ворот хозяйства, решился расстегнуть ворот рубахи и набрал полную грудь воздуха. Апельсиновые рощи ворвались в ноздри, будто звали вернуться к ним и трудиться. Но ведь доктор Карп запретил ему. Оранжевые круги то и дело плавают у него перед глазами, и левая рука начинает вдруг дрожать. Без всякой видимой причины. Доктор Карп предостерег его от чрезмерного физического напряжения. И от одиночества. Приступ может случиться во время работы на апельсиновой плантации, напри-

мер, в тот момент, когда он будет подрезать ветви. Или перетаскивать поливальные устройства из одного ряда в другой. И произойдет это неожиданно. Он останется лежать там, распластанный на земле, и ни одна живая душа не будет знать.

— Но если так, что же нам делать? — моментально сразил Бахрав врача.

— Будем заниматься умственным трудом! — ухмыльнулся доктор и похлопал его по плечу.

Только после того тумана, что окутал его внезапно, после того ужасного головокружения, Бахрав сдался. Один-одинешенек лежал он в своей комнате на полу, и сердце колотилось как бешеное. За стеной Яблонский по своему обыкновению слушал «Уголок труженика села». Специалист в области сельского хозяйства объяснял, как следует уничтожать вредителей апельсиновых плантаций в сезон сбора урожая. Пока начались «новости», сердце успело немного успокоиться. Никогда не пропускал он «Уголка труженика села» и семичасовых «новостей». И вдруг задремал, так и оставшись лежать распластанным на полу, с затихающим и обмирающим сердцем. Снова бежал он на заре по тропинке, меж апельсиновых деревьев, и Йорам рядом. Плечо к плечу взбираются они на тот холм, где кладбище. Останавливаются возле высоких статных кипарисов. И тут, все еще тяжко дыша после подъема, смотрят оба на голубовато-пурпурный восход над горами Эфраима. Йорам подымает вдруг глаза к вершинам кипарисов и говорит жалобно, со слезами в голосе:

— Невозможно нарисовать их, папа! Я хочу, чтобы с них падали листья...

— Рисуй их так — зелеными, сынок, — шепчет где-то рядом Пнина.

Бахрав чувствует, как сладкая истома растекается у него в груди, охватывает все тело.

— Мама права, Йорами.

Но Йорам смеется. Он уже удаляется — вниз по склону холма, стройная фигура трепещет и колышется от смеха. Даже зеленые глаза смеются.

— Лгуны! — плачет вдруг Йорам. — Вы меня не обманете! — И тело его сотрясается от рыданий.

Бахрав кидается догнать сына. Объяснить. Оправдаться. Но ноги его не слушаются. И даже само имя — Йорам! — застревает в горле и душит, душит...

Когда он наконец проснулся от собственного крика, то понял, что все еще лежит на полу. Жаркий ветер, долетавший из тьмы ночи, сушил горло. Руки бессильно покоились по сторонам отяжелевшего тела, и он ничем не сумел помочь себе. Всю ночь дожидался рассвета. Утром услышал шлепанье ног и стук палки Яблонского. Потом шести-

часовые «новости». Надеялся, что Яблонский заглянет спросить что-нибудь. Хотя и знал, что никто к нему не заглянет. С тех пор, как умерла Пнина, ни один человек не входил в его квартирку. Да он и не приглашал никого. По движению солнечных лучей, проникавших внутрь комнаты, отмерял Бахрав часы того бесконечного дня. Солнце взошло слева и проникло в щели жалюзей. Коснулось ног — сквозь южное окно. Пока не пропало под конец справа. И тело его немело и растворялось с ним вместе. Он вкусил от прихода кончины.

Под вечер явился распорядитель работ. Из молодых. Из тех, что родились здесь, один из их детей, впрягшихся в хозяйственное тягло. Стоял в полутьме и бормотал: дескать, он не интересуется, не задает никаких вопросов, его это не касается, он лишь хочет узнать, не подыскать ли Бахраву подмену на завтрашний день, поскольку сегодня тот не вышел — никого не предупредив, не вышел на работу... Он был скрыт тьмой и, видно, не заметил тела, распластанного на полу. Неуверенно переступал с ноги на ногу и вдруг застыдился своего нелепого бормотания. Повернулся и вышел — молодыми бодрыми шагами. А вскоре затем возник доктор Карп.

Потому-то Бахрав и просил, чтобы его перевели на другую работу. И нашел то, что надо — полдня, в кондитерской. Но когда стоял и приглядывал теперь за противнями со сдобным тестом, все думал: это суховей проносится в рядах апельсиновых деревьев, а не жар от электропечей... Оранжевые круги перед глазами не исчезли.

2.

В Шавуот[*] приехала Шарона. И она, и внуки, и Гершон. Оставались недолго. На исходе праздника уехали первым автобусом. И он почему-то не рассказал им о той ночи. И о встрече своей с Шейнманом тоже не заикнулся. Не рассказал и о марках, над которыми склонялся в жаркие ночи за опущенными жалюзи.

Шарона, только войдя, первым делом распахнула окна и голосом, так похожим на голос матери — одновременно упрекающим и ласкающим — сказала: ветер с моря, папа! Ветер с моря, это как бальзам, это как само дыхание жизни! Обнаженные ее хлопотливые руки легонько подтолкнули его, заставили сесть в новенькое кресло-качалку. И Гершон тоже уговаривал посидеть, попробовать, каково это. Кресло приняло его тело и стало укачивать в прохладной неге.

— Какую книгу тебе дать, папа? — Прохаживалась Шарона пальцами по ряду плотных томов в шкафу. — А. Д. Гордона? — Она

---

[*] Ш а в у о т — праздник в середине лета, наступающий через сорок девять дней после Песаха (*прим. перевод.*)

нарочно подчеркнула инициалы, вытесненные на широком матерчатом корешке, в голосе затрепетала насмешливая нотка. — Берла Каценельсона? Ицхака Табенкина?

Бахрав лишь привычно махнул рукой, вытянулся в кресле и закрыл глаза. В фигуру Пнины облеклась Шарона. Плечи и бедра раздались, и прядь волос надо лбом поседела. Пнина, когда сердилась, барабанила пальцами по столу. Она умерла внезапно, так что у него не было ни времени, ни возможности привыкнуть к ее смерти и к своему одиночеству. Он мог поклясться, что Пнина и сама не подозревала, что так вот вдруг умрет. Совершенно неожиданно это случилось. Поехала в больницу и не вернулась... И вот теперь, в годовщину ее смерти, Шарона и Гершон привезли ему кресло-качалку. Подражая языку ребенка, объясняла Шарона Пнинеле:

— Сегодня очень печальный день, поэтому мы решили привезти дедушке приятный подарок.

А Гершон дружески похлопал его по спине.

— А что? В кибуце тебе такого излишества не предоставят!

Бахрав вскинул голову и глянул в гладко выбритое и довольно улыбающееся лицо.

— Нехемия Аронович там у вас в Иерусалиме по-прежнему секретарь Рабочего совета? — спросил он вдруг. И увидел, как глаза зятя затянула пленка отчуждения.

— Аарони, — поправила Шарона. — Он, верно, поменял фамилию: Нехемия Аарони, — добавила не вполне уверенно.

— Очень хорошо, — сказал Бахрав и вдавил плечи в спинку кресла.

— Папа знает всех иерусалимских ветеранов, — пояснила Шарона без всякой радости.

Усмешка тронула уголки губ Бахрава.

— Хорошо, — повторил он, словно хотел убедить в чем-то самого себя. Вытянул руку и широким жестом торжественно взмахнул ею в воздухе: — Дом в вашем распоряжении! Я здесь — лишь гость. — Он чувствовал себя прекрасно — от того, что сидел в этом плетеном кресле, нежно облегающем все тело, и оттого, что друг его Аронович по-прежнему в Иерусалиме.

Шарона принесла кофе с ватрушками.

Бахрав уловил запах творога — хорошего, знаток своего дела производит такой продукт.

— В Иерусалиме тоже имеется свежий творог, — одобрил Бахрав и неожиданно добавил: — Когда ты родилась, я начал собирать марки.

— О! — промолвила Шарона, даже не поправив пряди, упавшей на внезапно зарумянившуюся щеку. — Это было давно, папа. — И глянула на Гершона, будто испрашивала подтверждения.

— В тридцать шестом, — не упустил уточнить Бахрав. — А в сорок восьмом в наш дом угодил снаряд, и все сгорело, марки тоже.

Шарона склонила голову, словно стараясь угадать продолжение.

— В тот день детей эвакуировали в кибуц Гиват-Шива, и я поклялся начать все с начала.

Шарона прошептала:

— Я не знала об этой клятве...

— Сказались пережитки капитализма в моем сознании, — попытался оправдаться Бахрав, снял очки, но тут же снова водрузил их на место. Тело его продолжало покачиваться. — И я действительно начал все с начала. — Он спустил ноги с кресла и утвердил их на полу.

— Когда я был подростком... — начал Гершон и пригладил рукой курчавые волосы.

— Но кроме того, я любил этот вид искусства — рисунки на марках, — прервал его Бахрав с внезапным раздражением.

— Дедушка устал, — сказала Шарона и обеими руками обхватила плечи детей. Вывела их на воздух. А когда вернулась, рассказала о последнем письме Йорама. Говорила громко, будто боялась воцарившейся в комнате тишины. Йорам спрашивает, как поживает отец. Он очень занят, много рисует. Там, в Париже. И по-прежнему просит, чтобы отец понял его и простил.

Бахрав поднялся и подошел к окну. Высокая его фигура заслонила уличный свет. Он увидел Дани, запускающего камнем в птицу, сидящую на ветке. Хотел сделать ему выговор: птицы усаживаются теперь на деревья, готовятся ко сну, нельзя их пугать! Это последние птичьи хлопоты перед великой ночной тишиной. Но ничего не сказал. Есть Шарона и Гершон, пускай они сами воспитывают своего сына. Вот он пытался воспитывать Йорама, и что из этого вышло? Тот бежал от него аж до самого Парижа. Отец отвечает за сына даже в новом социалистическом обществе, даже в кибуце, продолжил он давний диспут с самим собой. «Ты позоришь меня, твоего отца, — писал ему, стараясь выбирать выражения помягче, — и умножаешь седины и скорби своей матери. Возможно ли — чтобы сын Бахрава проживал в диаспоре?!» — Заканчивал, не в силах удержать крика души.

Йорам ему ответил. Снова просил, чтобы он постарался понять. Он учится. В Париже есть у кого поучиться живописи. Напоминал, что и он, Бахрав, его отец, собирался когда-то ехать в Париж изучать рисунок.

На похороны матери приехал. Бородатый, в истрепанных джинсах. На ногтях — пятна красок. Рассказывал о Париже. О листопаде на бульварах. Об осенних красках, подобных которым не сыщешь нигде в мире. Светлая его бородка двигалась в такт этим словам.

словно и она рисовала прекрасный Париж. С одноклассниками не пожелал встретиться.

Бахрав высунулся в окошко и все же попенял Дани из-за птиц.

Шарона прибавила:

— Не нужно сердить дедушку!

Преданная дочь Шарона. Была... Пока не явился Гершон и не утащил ее в Иерусалим. Даже свадьбу не пожелали сыграть в Эйн ха-Шароне. Не хотим брать на себя никаких моральных обязательств — так объяснили. Напрасно Бахрав соблазнял их роскошной многолюдной свадьбой, заслуженной старожилами Саронской долины*. Шарона заупрямилась. Смуглое продолговатое лицо ее сделалось хмурым. Эти ямочки на щеках... Что ж, их право поступать как знают. А ее отец? Он ведь тоже покинул дом своего отца!.. Бахрав пытался доказать разницу — с помощью логики и здравого смысла. Но они стояли на своем. Тогда Бахрав отказался ехать на свадьбу дочери. Только слезы Пнины заставили его в конце концов уступить. Но товарищам в кибуце он так и не открыл цели своей поездки. В раввинате благословил их молодой раввин и призвал всех присутствующих веселиться и радоваться ради жениха и невесты. Бахрав приневолил себя улыбнуться. Раввин прочел благословение над вином, и еще всякие благословения, пока не пришел черед разбить стакан в память разрушения Храма. А потом была странная тишина. И сегодня Бахрав помнит эту тишину. Молчание. Или только ему одному показалось, что все вокруг погрузилось в молчание?

Шарона предложила принести из столовой обед и поесть здесь, в квартирке отца, чтобы товарищи-кибуцники не косились на них и не злословили. Может, угадала желание Бахрава.

— Пнинеле споет нам, и мы сами устроим праздник. А Дани почитает из Свитка Рут.

Бахрав улыбнулся дочери, будто вступая с ней в тайный сговор.

Однако Гершон запротестовал. Он настоял на том, чтобы они шли в столовую. Детям это будет интересно, да и ему самому тоже — а иначе вообще зачем они тащились в такую даль в кибуц?

Бахрав посмотрел на дочь, но она отвела глаза.

— Хорошо, дети, — сказала она со сдержанным раздражением, но тут же смягчилась и прибавила, обращаясь к Пнинеле и стараясь подражать ее голоску: — Правда ведь, надо слушаться папу?

Один за другим они приняли душ и облачились в праздничные костюмы. Даже Бахрав надел белую рубаху. А потом, дожидаясь остальных, взялся, по своему обыкновению, за «Приложение земле-

---

* Саронская долина (на иврите *Шарон*) — простирается на севере страны между Средиземным морем и горами Самарии *(прим. перевод.)*

дельца». Уселся в кресло-качалку. Краем глаза наблюдал за Гершоном, то намыливающим лицо душистой пеной для бритья, то выбирающим галстук и повязывающим его перед зеркалом. Рот зятя не закрывался, он все нахваливал многолюдные совместные трапезы, как «у есеев в пещерах Кумрана ». Замолчал, лишь пришпилив галстук позолоченной булавкой. Пнинеле кружила возле отца в своем нарядном коротеньком платьице и хлопала в ладоши. В субботних брюках, из которых он уже успел вырасти — снизу торчали длинные ноги, — Дани стоял на пороге квартиры и держался за дверную ручку. Как верный страж в царских покоях. Гершон предложил и Бахраву надеть галстук. Пусть, по крайней мере, попробует. Бахрав лишь усмехнулся сдержанно.

Гершон шагал во главе семейства, посреди дорожки. С двух сторон от него — дети. Шарона позади мужа. Бахрав все с той же слабой усмешкой на устах замыкал шествие. Издали послышалось пение: «Кто поселится в шатрах Твоих, кто взойдет на гору святости Твоей?» Праздничные огни высвечивали сияющие круги на зеленом газоне перед столовой. Они остановились у входа и стали ждать — против стеклянных дверей, озаренных неоном, под взглядами товарищей-кибуцников, удобно расположившихся вокруг накрытых столов.

Когда закончилось пение, зашли внутрь и принялись осматриваться, отыскивая свободный стол. И не нашли. Тут и там виднелись пустые стулья, но уже захваченные — косо прислоненные к столам, неприступные под бдительными взглядами сторожащих их детей. Тем не менее Бахрав пошел вглубь столовой, по длинному проходу — прямой, высокий, с гордо поднятой головой, морщинистое лицо спокойно и шаг нетороплив. Ни перед кем не опустил глаз. Хотя и знал, что не найдет свободного места. Шарона заметила Рафи, своего одноклассника, стоявшего на возвышении и дирижировавшего хором. Правая рука высоко поднята, а левая застыла возле самых губ, словно в напряженном ожидании. И снова они были снаружи. Двигались молчаливой цепочкой обратно. Шлейф праздничного веселья влачится за ними: «Корзины наши у нас на плечах!.. Со всех концов страны пришли мы...»

Поели у него в комнате. Прямо из глубоких стальных мисок. Молчание все разрасталось по мере наступления ночи. Лишь размеренное дыхание спящих детей доносилось из соседней комнаты. Гершон в растерянности приглаживал рукой курчавые волосы и под конец направил ее к приемнику. Бахрав улыбнулся. Сказал, что привык слушать звуки музыки долгими зимними вечерами, раскладывая марки. Как будто ожидал какого-то вопроса. И не дождавшись, проговорил с трудом, словно вытягивая из себя слова:

— Шарона — это в честь Эйн ха-Шарона.

Гершон согласно кивнул головой.

— Она была первым ребенком здесь, — продолжал Бахрав упрямо и снял очки.

— Папа, — вмешалась Шарона, точно предчувствуя продолжение, — Гершон прекрасно знает, сколько мне лет.

— И несмотря на это для нас не нашлось места в столовой! — бередил Бахрав свежую рану.

— Это оттого, что мы опоздали, — возразила Шарона не вполне уверенно.

— Но тогда — когда я взошел на этот холм — голый песчаный холм — места было предостаточно! Больше, чем требуется! — Он со стуком опустил на стол чашку с остатками кофе.

Под настойчивыми взглядами Шароны Гершон поднялся и выключил радио. Потом распахнул дверцы буфета и достал бутылку коньяка. Налил две рюмки.

Бахрав едва ли не с нежностью глянул на Гершона, опрокинул рюмочку, крякнул и сказал взволнованно:

— Они не верили, что Эйн ха-Шарон действительно сумеет удержаться! Говорили: нет воды. Без воды — нет дома. Нет дома — нельзя заводить детей. Так что видишь, Гершон, дорогой мой зять: твоя супруга была очень близка к тому, чтобы вовсе не состояться. — И глянул на них обоих, с прежней своей усмешкой в уголке рта. — Когда они узнали о беременности, то потребовали, чтобы Пнина пошла в город к врачу и вернулась без нее! — Он указал дрожащей левой рукой на Шарону. Некоторое время рука так и оставалась одиноко висеть в воздухе. — Они не знали, что дети приносят и воду, и дом! — Он встал, приблизился к Гершону, протянул свою рюмку и предложил выпить за состоявшуюся жизнь Шароны. Затем они выпили за состоявшуюся жизнь воды в Эйн ха-Шароне и за здоровье Пнины в лучшем мире. После пятой рюмочки Бахрав пожелал Гершону прибавку к зарплате, «чтобы могли мы повеселиться все вместе, и не только в праздники!» И уселся с таким видом, будто с этим последним тостом исполнил чрезвычайно важную миссию. Глаза его сияли странным блеском. Даже бледные щеки вдруг зарделись, будто соучастницы внезапной симпатии к зятю. — А теперь расскажем милому моему Гершону, как обнаружили в Эйн ха-Шароне воду! — Он откинулся в кресле, положил ногу на ногу и плечами потверже оперся о спинку. Уже открыл было рот начать свой рассказ, но вдруг заметил, как дочь его подмигнула мужу. Он закрыл рот, снял очки, вновь водрузил их на нос и, словно подбадривая самого себя, сказал:

— Ничего, дети, ничего... Это как-никак наш долг — рассказывать вам... Да, снова и снова рассказывать... Умножающий предание достоин всяческой похвалы. — И действительно принялся описывать жажду — жажду людей, и жажду скотины, и жажду земли. Старый ко-

лодец давал лишь шесть кубов воды в час, а молодые виноградники и апельсиновые плантации — которые он насадил собственными руками, — требовали воды, много воды, они умирали от суши, вяли от жажды. Тоненькие лозы плакали без воды, в точности как крошечная Шаронеле.

В глазах его стояли слезы. Он повернул голову к окошку и замолчал. В окно втекали тьма и сладковатый запах апельсинов, напоминающий запах разлагающейся падали.

Тогда, продолжил Бахрав, он предложил рыть новый колодец. На значительном расстоянии от прежнего, на юге. Там, куда до сих пор не дошли дома поселенцев. Там и сейчас есть ограда, на том же самом месте. Если не по-хорошему, так по-плохому, но добудем воду! — так он подбадривал товарищей, всякими такими шуточками. Одной рукой, можно сказать, держались за арык, а другой — за колесо колодца. С юга, из садов Ум-Кафры, и с запада, с полей Миски, подкарауливали их из засады убийцы, «но мы не сдались, мы одержали верх!» Два года рыли, все углубляя и углубляя шахту. И наконец, в одну прекрасную ночь, хлынула вода! До самого неба взметнулась струя, облако брызг застлало звезды!

— А мы пили его, хватали ртом, и обнимались и целовались, как братья! — Бахрав замолчал на минуту и прибавил с печалью: — А вы, молодые, не верите... С глубины ста девяноста двух метров качали воду! Сто пятьдесят кубов в час! — Поднял глаза и, заметив смущение на лицах Шароны и Гершона, прибавил, точно очнувшись: — Да, трудно поверить... Это была победа упорства первопроходцев, дети. Нельзя человеку отчаиваться. Как говорили наши предки? Даже если меч острый приставлен к твоему горлу... — Голос его дрогнул вдруг из-за подступивших рыданий.

Он поднялся, подошел к шкафу и долго рылся в нем, отыскивая платок. Нашел наконец и промокнул глаза. Шарона отвела его обратно к креслу. Низким глухим голосом продолжил он свой рассказ:

— В бараке, где была столовая, устроили праздник воды. — Он перечислил всех присутствовавших в тот день. Вспомнил и Ароновича из Центрального комитета. — И никто не сказал: тесно мне это место... — прошептал горестно и снова взмахнул левой рукой в направлении зятя и дочери.

Шарона коснулась его дрожащих пальцев и стала поглаживать их, но Бахрав заставил ее вернуться на прежнее место. Он еще не окончил. Не надо спешить. Ночь еще вся впереди, и пусть они сидят и слушают.

— Таких украшений, что висели тогда в столовой — в том бараке, вы не сыщете нигде по всей Саронской долине, — уверял Бахрав. — И был плакат на стене — в духе изречений Торы: «Подымись, вода, из колодцев Господних». А на противоположной

стене... — Бахрав даже прочертил пальцем по воздуху всю эту надпись от начала до конца: — «В радости творите и умножайте!» Такие вот мы были... И когда подняли тебя, Шаронале, на сцену, — продолжал он взволнованно, — товарищи плясали вокруг и пели: «Вода, вода — веселье из источников Спасения!» И сам председатель Национального собрания встал и произнес речь, восславляя изречение «Подымись, вода!» — Бахрав и сам встал, прямой и величественный, и голос его теперь гремел во всю мочь: — Слова, которые как будто умерли, которые ничего не значили целых две тысячи лет, восстали вдруг к жизни, зазвучали гимном в Эйн ха-Шароне! Я говорю вам, товарищи: каждая капля воды в этом засушливом краю — это капля крови в жилах нашего народа! — Он опустился в кресло утомленный и с трудом переводил дыхание, левая рука была заложена за спину. — Кровь иссякает, дети... — пробормотал, словно обращаясь не к ним, а куда-то в пространство. — Мелеет и иссякает — в этом засушливом краю...

Назавтра они уехали первым автобусом — Шарона, и Гершон, и дети. Бахрав предлагал им остаться — хотя бы еще на один день. Он сводил бы Пнинеле в коровник и в птичник. И Дани прокатил бы на тракторе. Обещал даже Шароне рассказать про свои марки. Про свой план, связанный с новой жизнью. Конкретно ничего не сказал, только: новой жизнью. Гершон, возможно, что-то понял. Потому-то и заставил их уехать. Дескать, в конторе у него полно дел. И он еще берет дополнительную работу. Шарона тоже сказала, что дети не должны пропускать школу. Вот пусть он сам приезжает к ним в Иерусалим, тогда и обсудят все планы.

— Не горит! — заключил Гершон уверенно.

3.

Шарона писала, что на Рош ха-шана* он обязательно должен приехать. А чтобы новый год был добрым и сладким, пусть привезет меду из ульев Эйн ха-Шарона. С апельсиновых плантаций. «И выезжай пораньше, папа, — писала Шарона, — потому что в Иерусалиме праздники начинаются еще до полудня».

Козлята, что сделались горными козлами и поучают отцов своих! Объясняют, как тем следует поступать. Бахрав посмеивался про себя и был счастлив, но уезжать из кибуца не торопился. Опасался, что стоит ему выйти за ворота, как его квартирку займут под какие-нибудь коллективные нужды. Ципора из комиссии расселения так пря-

---

* Рош ха-шана — еврейский новый год *(прим. переводч.)*

мо и спросила: не собирается ли он праздновать Рош ха-шана где-нибудь там... То есть, не здесь, не в кибуце. Ей необходимо знать, поскольку прибывает множество гостей, и всех их нужно разместить где-то на ночь. Он попытался уклониться от прямого ответа. А когда Ципора принялась бесстыже настаивать, вдруг взорвался: разве это не его дом?! И прежде чем уехал, опустил жалюзи на окнах до упора. Не успокоился, пока не нашел толстого пенькового каната, каким обычно пользуются шоферы. Связал ручки жалюзей, а конец веревки закрепил за спинку кровати. Потом запер дверь на два замка, и еще вернулся и проверил снаружи.

Только подымаясь по крутой лестнице в жилище Гершона и Шароны, почувствовал, как отпускает наконец напряжение. Может, оттого ему сделалось легче, что со всех сторон неслись и проникали в ноздри дивные запахи фаршированной рыбы и соуса из чернослива. Давние сладкие воспоминания заставили его глаза повлажнеть. Шарона взглянула на него удивленно с порога. Он ответил ей смущенной улыбкой и указал на свои ноги, утомленные восхождением.

Сорок пять лет растаяли, будто их и не бывало — Шарона вернулась к правилам, заведенным в доме его отца: стол накрыт белой скатертью, и свечи пылают в субботнем светильнике.

— Гершон, — извинилась Шарона, — еще не вернулся с работы. Ему приходится брать дополнительную работу. Так-то.

Слова дочери не смутили его. Он с удовольствием вымылся в душе, переменил белье и надел пиджак. И проследил, чтобы воротник белой субботней рубахи лег как полагается на отвороты пиджака. А когда уселся на балконе и стал глядеть на веселую по-праздничному улицу, почувствовал, что ему подарено от того светлого часа, в котором содержится капелька райского блаженства — как выражались в свое время его предки. Даже когда Гершон пришел с работы и отказался пойти вместе в синагогу, Бахрав не стал настаивать.

Один спустился вниз и растворился в толпе нарядно одетых людей. Вместе с ними пришел в синагогу. Однако староста не позволил ему зайти внутрь. В белом своем одеянии и с кипой, вышитой, по иерусалимскому обычаю, золотом, объяснил Бахраву, что место в синагоге следует покупать — за деньги и загодя, ибо как сказано: трудящийся в канун субботы...

Бахрав в смущении снял очки и обещал так и сделать в будущем году, поскольку он тут новенький.

Гневное лицо старосты смягчилось, даже брови раздвинулись, отъехали одна от другой. Понятно: новые репатрианты, это совсем иной разговор. Заповедь заселения страны предшествует всему. Хотя иврит в устах пришельца звучал на удивление бегло и правильно. Усадил Бахрава на краешке скамьи, потеснив забронированные места. И прибавил, что если человек в Страшные дни просит его о милости,

то его святой долг помочь, поскольку все в руках Господа, кроме страха Господня...

Песнопения, которые в тот вечер слушал Бахрав в синагоге, смешались в его памяти с ароматами улицы и запахом кушаний, поданных Шароной к ужину. А в ночи — глубокой ночи — сидел он маленьким мальчиком на широких теплых коленях отца и отвечал ему урок недельной главы.

На утро увидел Гершона, склонившегося над картой Иерусалима с красным карандашом в руке — зять вычерчивал маршрут экскурсий, предстоящих ему, Бахраву. Гершон — плановик в министерстве финансов и офицер разведки в запасе, и потому он специалист в прокладывании маршрутов по любой карте — даже на застроенной местности. Выписал номера автобусов, следующих к кнесету и музею, Большой синагоге и Церкви гроба Господня, что в Старом городе. Оттуда карандаш передвинулся к Башне Давида и дальше к святому древнему кладбищу на Масличной горе. А к Стене плача они пойдут вместе. Поскольку день праздничный, то и дети смогут отправиться с ними, и дедушке будет позволено купить им сладостей в Армянском квартале.

И тогда вдруг сказал Бахрав:

— Может, вы найдете мне работу в Иерусалиме?

Шарона перепугалась.

— Зачем тебе работа, папа? — Но когда увидела его смущенную улыбку, прибавила: — Вечные твои шуточки... Ты не меняешься, папа.

А Гершон произнес с убеждением:

— Человек в твоем возрасте не может найти никакой работы.

Бахрав встал, выпрямился во весь рост и повторил с вызовом:

— Не может найти?

— Не может, — подтвердил Гершон весьма серьезно.

— Так, значит... — Бахрав набрал полные легкие воздуха, потом сел и сказал: — Если Аронович до сих пор секретарь Рабочего совета, то и для меня как-нибудь сыщется работа.

— Аарони, — отрезал Гершон жестко, — уже не секретарь Рабочего совета.

Бахрав протер стекла очков мягкой фланелью — не снимая их с носа — и выдавил глухо:

— Мы вместе прокладывали дороги в Иудейских горах под Иерусалимом... В те давние времена... Еще до Эйн ха-Шарона...

— Но теперь он уже не секретарь, — с плохо сдерживаемым злорадством повторил Гершон. — Уже не секретарь.

— Гальперин, — цеплялся Бахрав, — Гальперин ведь мэр города... Гальперин пришел нам тогда на помощь — в день массовых арестов... Англичане...

Гершон и тут раскрыл рот, чтобы что-то уточнить, но Шарона опередила его:

— Папа, зачем тебе работа? Ты приехал отдохнуть, погулять с внуками.

На другой день после праздника Бахрав встал пораньше и поехал в центр города. Повидал всех товарищей прежних лет. Их кабинеты располагались на верхних этажах, а поскольку Бахрав не доверял лифтам, то пришлось долго взбираться по бесконечным лестницам и останавливаться передохнуть на площадках между этажами. Они обрадовались его появлению, даже принялись шутить, что дожди, мол, в этом году ранние, так что бутсы нашего кибуцника хорошо прочистятся на каменных мостовых и мраморных ступенях. Подводили его к залитым дождевыми потоками окнам и указывали на шпили церквей, купола мечетей, крыши синагог и все приговаривали, точно в молитве: свят, свят, свят... Свят этот город и все воинство его. Выходило как-то так, будто лишь из окон их кабинетов можно по достоинству оценить колыбель трех религий. А потом восклицали с недоумением: что ему, Бахраву, делать в этом оплоте капитализма?! Даже напомнили сказанное о городе великом в земле Израиля, о пророчестве, гласившем: «Еще сорок дней — и опрокинется Ниневея!» Но несмотря на все это, приглашали сесть и угощали чаем (или кофе), а некоторые еще и пирожком или бурекасом*. И только выслушав его просьбу, остывали вдруг и мрачнели. Вновь пытались шутить: что, разве окончены все дела в Эйн ха-Шароне? Мы, дружище, как-никак в летах, прибавляли затем. Заслужили свое право почивать на лаврах — после всех колодцев, которые вырыли, и всех пустынь, которые заставили расцвести. И потом еще продолжали расспрашивать о его занятиях в кибуце, а услышав, что он сделался специалистом по выращиванию цитрусовых, принимались нахваливать профессию, прибавляя с усмешкой, что в Иерусалиме вовсе нет такого обыкновения — разводить лимоны с апельсинами. Тем не менее обещали, провожая Бахрава до дверей, помнить и хлопотать — весь Израиль поручитель друг за друга, так что будем интересоваться...

Только Гильбер, бухгалтер Эйн ха-Шарона в прошлые далекие дни, а теперь директор банка, специализирующегося по ипотечным ссудам, задержал его дольше. Гильбер сидел и глядел на Бахрава такими умильными взорами, будто все эти годы только и делал, что дожидался его визита. Даже открыл потайную дверцу в отделанном формаикой шкафу, достал бутылку импортного коньяку и налил в пузатенькие хрустальные рюмки.

---

* Бурекас — слоеный пирожок с сыром *(прим. перевод.)*.

— Кто бы мог поверить, — сказал, вертя рюмку и изучая коньяк на свет, — что Бахрав, тот самый Бахрав, который видел во мне, Гильбере, предателя — помнишь, когда я объявил, что покидаю кибуц?.. Ничего не дадим дезертиру! Помнишь свою речь? Я ведь так и ушел — без гроша. Голый и босый, как говорится... Но Гильбер не тот человек, чтобы держать зло на Бахрава. Гильбер всегда умел ценить благие намерения. А потому устрою тебе работу, старикан. Такую работу, которая не только обеспечит достойный заработок, но еще и пенсию, и прочие социальные льготы, включая оплату пребывания в больнице.

Бахрав возразил, что это было бы уж слишком щедро. С него достаточно небольшой зарплаты, лишь бы хватило на скромное существование да на подарки внукам к субботе. Правда, он еще нуждается в жилище — разумеется, не какой-нибудь настоящей современной квартире, нет, но все-таки каком-то местечке, где можно будет приклонить голову. И потому он обращается к нему, Гильберу, являющемуся директором банка, выдающего ипотечные ссуды...

Тут Гильбер прервал его и напомнил: ипотечную ссуду следует возвращать в виде ежегодных платежей. А сколько же лет, рассчитывает Бахрав, он будет способен нести финансовые обязательства? Ведь — да продлятся, разумеется, его дни до ста двадцати лет, — но ведь в одно прекрасное утро может статься — не дай Бог, конечно! Избавь и помилуй — нельзя открывать рот сатане! Но все же... Дружеский совет его, Гильбера, таков: Бахрав должен поехать в Эйн ха-Шарон и настоятельно потребовать от них оплаты квартиры. И то верно: ему, Гильберу, кибуц в свое время не выделил ни шиша, но он и проработал лишь каких-то десять лет, а не сорок пять, как Бахрав! Сорок пять лет — это все-таки как-никак кое-что...

В тот же вечер Бахрав объявил, что едет в Эйн ха-Шарон. Гершон одобрил его решение и прибавил, что ночи становятся холодными, того гляди, начнется эпидемия гриппа.

Это твое счастье, Бахрав, что ты живешь в Эйн ха-Шароне, а не в Иудейских горах, где люди едва ли не поголовно страдают от воспаления суставов, которое, как известно, случается после гриппа. И самое лучшее для человека — это укрыться в собственном доме.

Шарона попыталась удержать его. Даже обещала, что погода еще исправится. Клялась, что непременно исправится. А в Эйн ха-Шароне уж как-нибудь обойдутся еще несколько дней без него.

— Этого-то как раз я и опасаюсь, — пробормотал Бахрав глухо.

4.

Члены секретариата пригласили Бахрава явиться в пятницу. В десять утра. Обычное время заседаний. Но Бахрав и не подумал идти. В десять часов он стоял в кондитерской возле печи. Руки его подправляли и выравнивали противни с тестом, подталкиваемые транспортером в огнедышащую пасть. Достаточно и того, что он отправил им письменное прошение о выделении ему суммы, необходимой для наема в Иерусалиме скромной квартирки. А также о начислении выслуженного им пенсионного пособия. В точности, как советовал директор банка Гильбер. Он вовсе не собирается самолично соваться в это осиное гнездо. Там, конечно, и Юваль, секретарь хозяйства, и Мойшеле, координатор работ, и Шломо Биньямини, председатель комиссии по образованию, и Карми, казначей. Все как один одноклассники его сына Йорама. Нет, некоторые даже моложе. Бахрав знает: они так и не простили ему ухода детей из Эйн ха-Шарона. Как же — его дети покинули кибуц! А меня они не покинули? — захотелось крикнуть.

Юваль прискакал через полчаса. Нажал кнопку траспортера, так что противни подпрыгнули от внезапной остановки, наскочив друг на дружку.

— Мы не знали, что Бахрав пожелает устраниться от работы, не успев даже приступить к ней! — провозгласил Юваль во весь голос.

Бахрав надел свое длиннополое пальто — то самое, в котором выходил по ночам в охрану, — и последовал за Ювалем. Он никак не представлял, что дорога в секретариат окажется столь длинной и тяжкой. На подъеме с великим трудом вытаскивал он тяжелые бутсы из расползшейся грязи. Обутый в сандалии Юваль то и дело опережал его на несколько шагов. Йорам, тот не испугался, даже когда его вызвали для объяснений на общее собрание. Только засунул в карман блузы свои карандаши — латы рыцаря! И сел между отцом и матерью. Секретарь начал свою речь с прославления деяний поколения отцов-основателей, благодаря коим сыновья удостоились владеть отличнейшим во всех отношениях хозяйством. А закончил предупреждением, что если все молодые бросят кибуц и уедут себе в Париж, то вскорости тут останется один сплошной дом престарелых. Кто-то из пионеров-основателей поднялся и сделал сообщение: лучшие свои годы отдали они делу созидания и преобразования! Но Йорама все это не смутило. Возможно оттого, что он сидел между матерью и отцом. И позади него была Шарона. Одну-единственную фразу произнес: каждый поступает соответственно велению своей совести. Так ведь, собственно, рассуждали и отцы-основатели. А теперь Йорам рисует себе листопад в Париже, и зарубежная пресса превозносит его талант. Только отец его тащится по осенней грязи Саронской долины, как при-

говоренный к казни. Рисунки отца рождались в сердце его и увядали в сердце его, в то время как руки пестовали апельсиновые деревья.

— Мы готовы! — провозгласил Юваль и хлопнул ладонью по столу.

Бахрав и не заметил, как оказался в помещении и уселся против них всех. Бесцветный голос Биньямини долетел до него словно бы издалека.

— Мы получили твое прошение. Должен сказать, оно произвело на нас чрезвычайно тяжелое впечатление... — После каждой фразы Биньямини делал продолжительную паузу и все пытался прочистить горло. — Мы подумали, что, может быть, в дружеской беседе, здесь, между товарищами...

Бахрав опустил глаза. Пускай уже скорей переходят к упрекам и угрозам. Все равно ведь кончится этим. Он снял очки и уставился в стену напротив. Словно сквозь туман различил плакат: «Вашими заслугами достигнуто биение жизни». Там были фотографии Кригера, и Пильняка, и Гелера, и Розы, и Эсти. И даже Пнины, жены его. Прекрасный обычай установили молодые, позаботившись развесить на стенах портреты основателей, обитающих ныне на холме под кипарисами...

Яблонский ворвался стремительно — несмотря на хромоту и возраст, по обыкновению своему, постукивая палкой.

— Злокозненные слухи достигли моих ушей! — врезался он в речь Биньямини и прибавил глухо: — Не верю! — Уставился на Бахрава, словно требуя немедленного опровержения. — Мы заслуженные воины, Бахрав! Старые солдаты не покидают поля боя!

Юваль попросил не высказываться, не испросив предварительно права голоса. Однако Яблонский грозно ударил об пол палкой и закричал сыну:

— Шмендрик! Не смей перебивать меня! Когда речь идет!.. Когда решаются судьбы! — После чего решительно выставил седую бороденку в сторону членов секретариата и уселся.

Бахрав ничего не сказал. Да и что он мог сказать им? Описать свое одиночество? Разве они поймут... Обвинять человека — это они умеют. Яблонский... Яблонский расцвел и разветвился тут в Эйн ха-Шароне не хуже целой апельсиновой плантации в окрестных песчаных дюнах. Двадцать два члена насчитывает теперь род Яблонских. Каждый вечер накануне субботы выставляется младший сын Юваля на боевой пост — сторожить стулья в столовой для своего семейства. Шесть столов сдвигают Яблонские и прислоняют к ним спинками стулья — чтобы никто не посмел занять. С раскинутыми в стороны руками и широко расставив ноги, несет внук Яблонского свой караул.

— В столовой, — произнес вдруг Бахрав и надел очки, словно испугавшись собственного голоса, — для меня нет места! Это означает... — Он осекся. Вовсе не это собирался он сказать.

— Извини, Бахрав, — сказал Мойшеле, два года изучавший в экономической школе методы прогрессивного хозяйства и возможности повышения производительности труда, вертя теперь в своих длинных загорелых пальцах карандаш: — Мы рассматриваем принципиальный вопрос, и тут нет места никаким сентиментам! В Совете принято решение не допускать расшатывания основ, на которых воспитывается и закаляется молодое поколение! — Он поднялся, оперся руками о крышку стола и посмотрел вокруг: — Сегодня Бахрав, вчера Гильбер, а завтра...

Бахрав знал, что и сегодня не изменит своему правилу — вернувшись к себе в комнату, опустит жалюзи, свяжет их веревкой и растянется на постели. Веревка — случайная находка — вселяет в его душу уверенность. Требуется немалое мужество: вернуться в свою комнату и лечь, с тем, чтобы потом встать. Он будет лежать с открытыми глазами и глядеть на собственную обувь и одежду, пока тьма не поглотит все предметы. И в тот час, когда товарищи станут готовиться — каждый у себя — к встрече субботы, он единственный потащится по дорожкам со стальными мисками в руках, чтобы с черного хода проникнуть на кухню. И потом, снова закрывшись в своей комнате, в полном одиночестве поест. Ведь и в будни, зайдя в столовую, он ищет для себя место где-нибудь подальше, в уголке. Как будто боится товарищей. Разумеется, они не забыли его выступлений на собраниях: о несправедливом распределении одежды, и о тракторах, рабочие дни которых проходят в ремонтных гаражах, и о легких заработках, изобретенных молодым казначеем — куда как прекрасно играть на бирже и в лотереи! И о еде, выбрасываемой в помойное ведро.

Бахрав вдруг поднялся и единым духом выпалил свое требование: пусть ему дадут тысячу лир за каждый проработанный тут год! Сорок пять лет...

Счетовод Карми вскочил на ноги и выставил вперед свои белые руки, как человек, который умоляет, чтобы его избавили от необходимости выслушивать никчемные пустые слова.

— Вы знаете, какой процент мы за это уплатим? Каков сегодня банковский процент? — И обхватил голову обеими руками, словно на него внезапно обрушилось страшное несчастье. Затем принялся торопливо, воровато рыться в бумагах, вытащил из общей кипы какую-то одну и голосом обвинителя принялся зачитывать: — Вот каким образом использовал рабочие дни наш товарищ Бахрав после кончины нашего товарища Пнины: он выворачивал из земли камни и сажал на могилах цветы. В то время как газоны на территории кибуца засыхали, вяли кусты роз и дорожки зарастали чертополохом... — он вытянул в

сторону Бахрава указующий перст и заключил: — он рассказывал нам, что трудится над декоративным оформлением хозяйства!

Яблонский процедил:

— Значит, все то великое, что мы создали здесь своими руками, ты готов бросить на произвол судьбы?

Юваль продолжал между тем рассудительно, словно подводил итог вещам абсолютно ясным и не требующим обсуждения:

— Эйн ха-Шарон способен обеспечить отцов — точно так же, как отцы в свое время обеспечивали нас.

Бахрав хотел объяснить им, как он тоскует без своей дочери Шароны, без Дани и Пнинеле. Он готов был пообещать, что в долгие зимние вечера там, в скалистом Иерусалиме, станет рассказывать внукам о золотистых песках Эйн ха-Шарона, о весеннем цветении апельсинов, о мужестве товарищей, рывших колодец и сражавшихся с коварным врагом. И никогда он не заикнется о том, как одинок был тут, среди всех своих товарищей и среди всего того великого, что они создали собственными руками — как выражается товарищ Яблонский.

— Вы не понимаете... — произносил он заикаясь и путаясь, хотя и достаточно громко. — Я здесь... Здесь я... Как чужестранец!.. Я тут в изгнании!

Сендер тут же потребовал, чтобы Бахрав взял свои слова обратно. А Биньямини сказал, что если это действительно отражает настроения одного из старейших членов хозяйства... Но не закончил, поскольку Карми решительно бросил в пространство:

— Я называю это предательством!

Яблонский без единого слова захромал вон из зала. Тогда поднялся Юваль и спокойно подытожил:

— Ничего не поделаешь, товарищи: придется вынести обсуждение этого вопроса на общее собрание.

Бахрав знал, что судьба его предопределена. Осторожно, неторопливо, опасаясь, что сердце, так дико забившееся, выскочит вот-вот из груди, он выпрямился и поволок отяжелевшие ноги к выходу. Все жилки его тела напряглись в ожидании той секунды, когда кровь подымется волна за волной к голове и затопит его окончательно. Но этого не случилось. Сердце так же неожиданно успокоилось, и древняя мелодия зазвучала в ушах и подступила к губам:

Покой пришел к утомленному воину,
Успокоение от трудов...

5.

С зарей Бахрав уже стоял в душе и подставлял свое тело прохладным струям. «Ясная голова на свежем теле», — напевал он снова

и снова, едва ли не весело, почти так же, как когда-то Йораму, сыну своему — когда тот еще был рядом... Когда, вернувшись после утренней пробежки по дорожкам апельсиновых рощ, они обливались холодной водой. Именно во время этих пробежек он и обратил внимание сына на все богатство оттенков утренней зари. Случалось, им удавалось полюбоваться и высокой радугой в небесах. Это если выдавалось туманное утро — тогда вставала радуга, от горизонта до горизонта. «Чернота туч и сияние солнца — это еще не все, Йорами...»

Теперь, стоя в душе, сквозь водяные брызги поглядывал он на коробки с марками на столе. Коробки были черные, и цветастые квадратики внутри никак не заявляли о себе. Марки разложены и рассортированы, все до одной, как того требовал Шейнман. Только конверты с марками «первого дня» упрятаны подальше, на дно чемодана.

Пока полотенце растирало окоченевшие члены, он еще раз продумал предстоящие переговоры с Шейнманом. Бахрав, конечно, социалист, кибуцник, но в его жилах течет кровь поколений предков-торговцев. Это будет проверкой. Испытанием. Альбом — он выложит его в последнюю очередь — вот тот козырь, который должен побить все карты Шейнмана!

Выходя на этот раз из дому, он распахнул во всю ширь окно и дверь тоже не стал запирать. Веревка осталась валяться закинутой под кроватью, как ненужная ветошь. Дождь приветствовал его снаружи. Бахрав твердо и прямо смотрел в удивленные лица встречавшихся ему на дорожке товарищей и ни разу не свернул ни перед кем ни вправо, ни влево. Только на остановке с тоской поглядел на наемных рабочих, вываливавшихся в этот час из автобуса. Что ж, есть кому заменить его... Протянул деньги водителю и, даже не пересчитав сдачи, уселся. Чувствовал устремленные на него взгляды и немые вопросы товарищей: почему он в будни обрядился в субботние одежды? И что это за чемодан у него в руках? Их поездка была проста и ясна как божий день: в карманах у них направления на рентген, к глазному врачу — проверка зрения, к зубному — зубы необходимо лечить. Телесные недуги, которых не приходится стыдиться.

Холодный ветер, врывающийся в оконные щели, охладил его пылающий лоб. Он опустил голову на руки и незаметно задремал. И снова увидел себя бегущим по краю апельсиновой рощи, но ноги его увязали теперь в рыхлом песке. Страх охватил его — ему не выбраться отсюда. И сына, Йорама, нет рядом... Товарищи-кибуцники сидят вокруг столов, холодный неоновый свет освещает их лица. Он хочет позвать на помощь, но голос его не слышен. Изворачиваясь всем телом, пытается он вытащить ноги, но сухая глинистая земля рассыпается в прах... Под конец властная рука ухватила его за плечо. Он открыл глаза. Это водитель торопил его покинуть автобус — прибыли, конечная. Рабочие уже ждут, чтобы начать чистить и мыть машину.

На двери магазинчика Шейнмана обнаружил записку: «Тотчас вернусь». Бахрав остановился и принялся дожидаться. Как конь, достигший места назначения, замер и не двигался больше. Только склонил корпус над чемоданом, словно старался укрыть его от потоков дождя. Глаза тем временем изучали витрину. Марки отвечали ему своими цветастыми глазенками: синие треугольники, розовые прямоугольники, желтые ромбы. Названия дальних стран царапали сердце тоскливым коготком: Того, Гаити, Камерун — таинственные неведомые места. На мгновение он даже пожалел, что всю жизнь собирал одни только марки Земли Израиля.

Шейнман подкатился наконец на своих коротеньких ножках. Глубоким низким голосом, вызывающим безусловное доверие, извинился, что повесил эту записку «тотчас вернусь», поскольку не знал (разве может человек что-либо знать! — добавил он философически): если за что и может человек ручаться, так только за свой уход...

Бахрав переступил за ним следом порог магазина и поспешил извлечь из чемодана коробки. Крышки были наконец подняты, и освобожденные из тесного плена марки выглянули наружу. Бахрав перенес руки на пояс, словно готовя самого себя к предстоящему важному свершению, и глянул на Шейнмана. Однако торговец в полном равнодушии, подымаясь шаг за шагом по деревянной стремянке, мел метелочкой из перьев по полкам. Коротенькие его ручки умудрялись забираться даже в самые глухие уголки.

— Мы готовы! — воскликнул Бахрав браво.

Шейнман приблизился и сунул свои толстые пальцы в груду марок. Бахрав почувствовал в животе болезненный спазм.

— Прекрасно, прекрасно, — бормотал торговец, выражая свое восхищение. — Все израильские?

Бахрав кивнул в подтверждение.

— Очень мило, — снова выразил торговец свое одобрение. — Но стоимость их не так уж велика, — заметил он как бы невзначай. Марки заскользили у него меж пальцев и застыли пушистой горкой на прилавке. — Я заплачу за них согласно ценнику. — Он взглянул на Бахрава и запустил руку в задний карман брюк, где хранился кошелек.

Бахрав не ответил, лишь принялся молча собирать марки.

— Есть и другой способ, — поспешил объявить Шейнман, и тонкие его губы растянулись в улыбке. — Только это займет значительно больше времени и в результате выйдет то же самое — столько же, сколько я предложил. — Он сделал паузу, словно ожидая ответа Бахрава, и продолжил: — Если так, можете сесть и пересчитать их по одной.

Бахрав остался. Снял пальто, засучил рукава рубахи — словно в жаркий день в поле — и принялся за пересчет. Не так уж это и сложно, думалось ему. Ведь марки уже разложены согласно стоимости и

году выпуска. Хотя Шнайман, конечно, будет стоять и следить за ним. Он поднял глаза и с изумлением увидел того сидящим за маленьким столиком с лупой в одной руке и щипчиками в другой. Не исключено, что Шейнман все-таки порядочный человек. Ведь это именно он объяснил Бахраву, как рассортировать марки, и пообещал в надлежащее время заплатить за них как следует. Наличными. Хорошие деньги. Когда Бахрав поинтересовался, когда наступит это «надлежащее время», ответил, что день назначит он сам, то есть Бахрав. Бахрав попросил назвать сумму, на которую он может рассчитывать, поскольку вовсе не исключено, что его дальнейшая жизнь зависит от этих клочков бумаги. «Что значит — клочков бумаги? — притворился Шейнман обиженным. — Любая марка стоит денег. Иногда даже больших денег. Это от многого зависит», — заключил таинственно.

Бахрав произнес вдруг как бы в шутку:

— Это все, что осталось у меня от сорока пяти лет жизни... — Замолчал и махнул рукой.

Шейнман не ответил. Лысая его голова продолжала клониться над крошечным столиком. Лишь изредка он покачивал ею, то ли в ответ на слова Бахрава, то ли поражаясь своим открытиям, совершенным с помощью лупы.

— Но они еще узнают! — Бахрав погрозил кулаком невидимым «им». — И Гершон еще поползает передо мной на брюхе!

И снова поник головой и стал раскладывать марки в стопки. Такой опытный торговец как Шейнман должен высказать свое мнение и о внешнем виде, и о состоянии марок. Чистенькие аккуратненькие марки. Бахрав попытался представить себе свою новую квартиру. По виду очень скромная, но милая и уютная — как выразился поэт. Он уплатит хозяину за пять лет вперед. Число лет по числу коробок. Он не просит ни копейки больше. Однокомнатная квартирка. Удобства могут быть во дворе, не важно. Главное, начать все с начала. Как в Эйн ха-Шароне. Барак. Убийственная жара летом... После работы он будет водить Пнинеле в зоопарк. Как водил Йорами и Шаронеле в птичник. Они всегда гоготали и крякали: глот! глот! А может, он даже позовет Дани бегать вместе по утрам. В Крестовой долине, рядом с домом... Будут соревноваться. Среди тех деревьев, из которых делают кресты для распятия... А в субботние вечера дедушка будет приносить подарки. Гершону: бутылка коньяка, из самых лучших. Это прежде всего. У Гершона изысканный вкус, он сумеет оценить хороший коньяк. Отпразднуем мир, Гершон, — на пять ближайших лет! А что он принесет Пнинеле? Куклу он принесет Пнинеле. Такую, что закрывает глаза и льет слезы. А для Дани он начнет собирать марки — опять, с начала...

Бахрав рассмеялся и с тревогой глянул вокруг. Шейнман стоял к нему спиной и опускал жалюзи. Человек его возраста обязан думать о своем здоровье, с пониманием отнесся Бахрав. И нет ничего полез-

нее для здоровья, чем полуденный отдых. Шейнман подошел и зажег настольную лампу. Чтобы Бахрав мог продолжать свою работу. На порядочность кибуцника можно положиться, кибуцнику можно довериться с закрытыми глазами. Шейнман рассмеялся и указал на складную кровать, которую расставлял посреди лавки.

Бахрав не замечал, как летели часы. Столбцы серий росли и удлинялись на белых листах, рука продолжала механически записывать. Дважды колонки цифр сливались в железные стержни, готовые ударить его по рукам, но он пренебрег угрозой и записывал дальше. Он даже не слышал, как Шейнман встал и сложил кровать, как он поднял жалюзи, налил кофе и поставил рядом с Бахравом дымящуюся чашку. Только когда закончил и хриплым голосом позвал: «Все готово!» — заметил кофе. Поднял чашку обеими руками и поднес ко рту. Глаза его глядели прямо на проникавший сквозь стекло свет уличного фонаря и не щурились.

Шейнман приблизился, молча смахнул марки в коробки, затем взял исписанный лист бумаги, подытожил сумму, принялся умножать и делить, прибавлять и вычитать, и при этом не останавливаясь бормотал что-то беззвучно, словно в молитве.

Бахрав стоял в напряженном ожидании, не сводя взгляда с движущихся губ торговца, и повторял вслед за ним как заклинание: семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре раза агора с половиной... Три тысячи семьсот пятьдесят семь раз три агоры! Пока не почувствовал легкого похлопыванья по плечу и увидел лист, подпихиваемый к нему в руки.

— Никогда, мой друг, не доверяйте торговцам марками! — уговаривал его Шейнман. — Проверяйте счет внимательнейшим образом. Хоть и говорят: доброе имя дороже драгоценных масел... — Он вытащил четыре купюры по сто лир, бросил их на прилавок и произнес великодушно: — Сдачу можете оставить себе. — Затем отошел к своему столику и поинтересовался громко: — И что же товарищ кибуцник станет делать с такими огромными деньжищами?

Возможно, гневное молчание Бахрава не позволяло торговцу сдержаться и прикусить язык. С возмущением принялся он говорить о нынешних скверных временах, когда человек уже не желает довольствоваться тем, что имеет. Вот, например, когда он сам был членом кибуца в Галилее, то обходился несколькими грошами в месяц. А теперь накупит наш друг кибуцник товарищ Бахрав подарков внукам как настоящий буржуй. Для Пнинеле, например — так ведь ее зовут? Он ведь поминал ее имя. Да. Еще и приобретет себе, чего доброго, кресло-качалку. Не обязательно ему дожидаться теперь очереди в кибуце. Ветеранов ведь много, когда-то она еще придет, его очередь. А в его возрасте так приятно иметь кресло-качалку. Это как будто возвращаешься в дни младенчества, в люльку! — захохотал во весь голос.

Бахрав закрыл глаза, но и сквозь веки продолжал видеть красное лицо Шейнмана и седую щетину на подбородке, его горящие глаза. Три раза уже проверил он счет и сверил с ценником, выпускаемым Обществом филателистов. Четыреста лир без двух. Все верно. А Шейнман продолжал уговаривать его считать как следует. Потому что немало его хороших друзей, не про нас будь сказано, буквально свалились больными из-за того, что вообразили себя обманутыми. А если ему, Бахраву, кажется, что он получил недостаточно, что ж, пусть получше пороется в карманах или на дне чемодана и отыщет там марки подороже. Такие, что действительно стоят сотни и тысячи лир. И тогда оба мы обделаем приличную сделку.

Бахрав вскочил и вытряхнул все, что было в чемодане. С видом победителя водрузил на прилавок альбом. С напряжением следил за протянувшейся рукой Шейнмана — пальцы бродят между листов — и под конец различил презрительную усмешку на его губах.

— Двадцать лир, — подытожил Шейнман.

— И про вас еще говорят, что вы честный человек! — Бахрав взглянул на торговца с презрением. И не стал рассказывать ему, как экономил копейки из своего жалкого личного бюджета, лишь бы купить эти конверты — конверты первого дня.

Шейнман приблизился и взял его под руку. Стал говорить, как врач с больным — когда тот пытается смягчить ужасный приговор ласковым прикосновением. Бахрав обязан понять: эти конверты приобретали многие. Предложение превышает спрос. Ведь и у Бахрава в жилах течет кровь его предков-торговцев.

— Принесите мне марки «доар иври»! — вскричал наконец страстно. — «Цфат в блокаде» принесите мне!

Бахрав опустил голову.

— Душу мою в блокаде я принесу... — прошептал горестно.

Взял деньги, альбом положил обратно в чемодан и поволок свои ноги прочь из магазина.

6.

Целые лужи воды вливались в бутсы, и с ними вместе вливались отражения звезд на небе и уличных фонарей на земле. Он не чувствовал, что ноги его промокли. Встречные наталкивались на него, закружив, увлекали куда-то в сторону, сбивали с пути. Он ничего не замечал.

— Это конец, — сказал он вдруг громко.

Кто-то остановился и извинился: дескать, не расслышал вопроса. Бахрав не ответил. Издали заметил магазин игрушек и вошел. Попросил куклу. Большую и красивую. Такую, что закрывает глаза и льет

слезы. Продавщица извинилась и сказала, что большие красивые куклы у них в магазине французского производства, поэтому они говорят «мама, мама», а таких, чтобы плакали, вовсе нет.

Бахрав купил ту, у которой волосы как солнечные лучи и ангельское личико. Заплатил, вышел из магазина и поехал на центральную станцию. А спустя два часа уже стучался в дверь квартиры своей дочери. Попытался объясниться и оправдаться: да, он знает, что время уже позднее, но он просто обязан был привезти подарки.

Испуганная Шарона показалась из кухни. Ей показалось, объяснила она, что она слышит стук в дверь, поэтому она послала Гершона открыть. Потом ей показалось, так она сказала, что слышит голос отца. Она где угодно различит голос отца. Даже среди самого сильного гвалта, даже в полнейшем молчании. Слишком хорошо она знает голос своего отца. Она извинилась, что у нее грязные руки. Она разделывает рыбу к субботе.

— Я так испугалась, — сказала она и вдруг заплакала. И откинула на затылок длинные пряди. — Ой, папа, как ты меня напугал! — Прижалась к нему и обвила руками его шею.

Руки и лицо ее были влажными и теплыми. Бахрав попытался пошутить:

— Чего ж тут пугаться? — Вытащил из коробки куклу и поставил на стол. — Разве нельзя, чтобы дедушка-кибуцник привез подарки?

— Конечно, можно, папочка, — улыбнулась Шарона сквозь слезы. — Конечно, можно. Но почему в такое время? — И снова поглядела на него испуганными глазами.

Бахрав потребовал со всей серьезностью, чтобы ему показали внуков. Тотчас. Сию минуту. Гершон пытался возражать. Не теперь. Нынешним вечером он обязан закончить составление финансового отчета для одного из своих клиентов. Который, кстати, обещал хорошо заплатить. Но Бахрав не уступил. И сонная Пнинеле была доставлена в маминых объятиях. Маленькие кулачки терли зажмуренные глазки. Дани, в пижаме, из которой он успел вырасти, в смущении шагал следом. С трудом переставлял длинные босые ноги, будто ступал по битому стеклу. Бахрав вручил Пнинеле куклу, а Дани — альбом с марками.

— Тебе скоро тринадцать, — пробормотал не вполне уверенно, — пора уже начать собирать марки... Марки первого дня! — добавил, громко рассмеявшись. — Никогда нельзя знать, что случится...

Шарона передала дочку Гершону и поцеловала отца в щеку.

— Ты такой смешной, папа, — сказала она печально.

Бахрав вытащил оставшиеся у него деньги и положил на стол. Шарона потихоньку вышла вместе с детьми. Гершон сделал протестующий жест.

Несмотря на то, что сумма невелика, произнес Бахрав, он все-таки просит, чтобы Йораму выделили его часть, когда тот вернется из Парижа. Он скоро вернется. Обязан вернуться. Пусть купит на эти деньги краски. И нарисует кипарисы. В Эйн ха-Шароне много кипарисов. На холме...

— Пусть нарисует их в листопад! — потребовал голосом, не допускающим возражений.

Гершон пробормотал:

— У кипарисов... не бывает листопада... — Но тут же беспомощно опустил руки, постоял немного в раздумье, потом налил коньяку в две рюмки, покосился на лежащие на столе деньги и провозгласил тост: — За здоровье богатого американского дядюшки!

Бахрав не ответил, только снял пальто, переложил его с руки на руку, будто взвешивая, сколько воды оно успело впитать в себя, и объявил, что должен вернуться домой. Его ждут дела. Распределитель работ не сумеет найти ему замены. Не всякий мальчишка в кибуце способен заменить Бахрава.

Гершон сказал многозначительно:

— Я понимаю.

— Что ты понимаешь? — спросил Бахрав и строго поглядел ему в глаза.

Шарона вернулась все в том же запятнанном кухонном переднике и загородила собой выход. Сейчас он должен лечь спать, — приказала строго. — Немедленно. А завтра он отведает ее рыбы — которую она готовит на субботу. Места тут хватит на всех. Если он хочет, может занять их спальню — пожалуйста.

— На двуспальной кровати выспишься вдвое лучше, — прибавила она с улыбкой. Но черные ее глаза смотрели при этом очень серьезно.

Однако Бахрав не сдавался. Его беспокоит погода. В это время года в Иерусалиме легче легкого схватить воспаление суставов. Человек его возраста должен быть осторожен. Пнина, ее мать, она ведь скончалась внезапно. И все из-за какой-то пустяшной простуды. Шарона безусловно помнит, как медсестра давала ей аспирин — да, пыталась лечить ее аспирином.

— Теперь она отдыхает, — закончил он со странной улыбкой, — в двуспальной просторной кровати. — И тотчас наклонился и поцеловал ледяными губами Шарону в лоб.

Пожатие Гершона было крепким. Как и положено между мужчинами.

Хайфский автобус-экспресс специально ради него остановился в излучине дороги. Час был поздний — заполночь. У него даже возникла на минуту мысль попросить водителя доставить его прямо к воротам кибуца, но пока он подыскивал, чем обосновать такую странную

просьбу — возрастом, усталостью или ранением, полученным в те дни, когда он обеспечивал охрану сельскохозяйственных рабочих, по этому самому шоссе отправлявшихся на апельсиновые плантации, автобус уже затормозил. Бахрав пошел вниз по склону, затем оказался на проселке — одинокий и страшно усталый. Дорога была длинная. Она все растягивалась и растягивалась, в точности как тогда, когда ему приходилось ездить в пикапчике перед грузовиком с рабочими и высматривать мины, подложенные за ночь врагом.

Он не захотел пройти через главные ворота, поскольку нынешней ночью там дежурил Биньямини. Бахрав не собирался отвечать на его вопросы. Он знал, где в ограде сада есть дыра. Потом он прошагал по мокрой траве и опустил на землю пустой чемодан. Опустился сам, лег, вытянулся во весь рост и уставился на темные тени над головой. Скоро сюда явятся рабочие, занятые на уборке апельсинов, со своими корзинами и песнями, и найдут его, растянувшегося на жестком бурьяне...

Он пополз и достиг ствола одного из деревьев. Ухватился за него руками и поднялся. Медленно-медленно двинулся к дому — от дерева к дереву, не то приподымая склоненные ветви, не то, наоборот, опираясь на них. Зашел тихонько в свою комнату, остановился у окна и стал смотреть наружу. Апельсиновая роща казалась темно-зеленой, а горы на горизонте уже окрасились в голубовато-малиновые рассветные тона. Да, яркие и сильные краски... И запахи тоже... Золотые апельсины рождались на деревьях один за другим из мрака ночи. Красиво, подумал Бахрав. Встает новый день... И опустил жалюзи.

Перевела с иврита Светлана ШЕНБРУНН

Мушег ГАЛШОЯН

ПАРЕНЬ С ВЕРХНЕГО ОКОЛОТКА ГОРОДА МУША

рассказ

Годы, э-э-э, много лет назад, когда Млег (парень с верхнего околотка города Муша, как в шутку товарищи по работе обращались к нему и как звал он сам себя, когда бывал пьян), когда мастер Млег был молодым, как-то весенним утром в город влетел орел — странное дело! — оставив высокие горы, орел вступил в город и сел прямо напротив каменщика Млега. Ну, орел ведь, взором уперся вон туда, в каменную кучу, торчащий там камень был, и взлетел и сел на камень и сидел, сколько душе угодно (больно ему надо, в какие думы вводит он каменщика Млега), и взмахнул крылами и улетел, когда вздумалось (и больно надо ему, сколько мучений и каких долгих-долгих мучений оставляет он парню с верхнего околотка города Муша).

Случилось так, во время работы, когда камень к кладке прилаживал, тень мелькнула над головой мастера Млега. И видел он, как орел опустился неподалеку — на кучу камней, отделенную для будущего карниза, и сел на торчащий камень. Сперва так, между прочим все принял и не сразу понял, что это ведь, это царь птиц, а царь птиц так редко — тысячу на один — идем к людям. А когда орел сел и застыл, каменщик Млег положил молоток на камень, зажег папиросу и закурил, сидя на стене, и стал думать о царе птиц.

Долго сидел орел, и Млег, глядя на орла, курил и тысячу вещей передумал. Удивительно, что орел в город залетел. Оставив горы, оставив горячие и прохладные утесы, гнездо свое в вышине оставив, — в город зачем прилетел? Может, гонимый врагами?.. Если потому оставил он горы, оставил утесы, высоконькое гнездо свое оставил и летел к людям, за помощью, то глуп этот орел. Но он — царь птиц — хозяин в небе: никто не может притеснять его... Значит, врагами на земле гоним... А кто ему враг на земле?.. Может статься, змей. Может быть... Может быть... Нет на земле живого существа, подумал Млег, негонимого или гонителя... Кто преследовал орла?.. Сдается мне, что змей, сдается мне... Да мало ли кто, коварный, как змей... И орел сбежал не от силы врага, а от его коварства, не от сильного врага, а от великого коварства слабого врага. Сбежал-пришел к людям узнать, отчего коварны враги его. Сдается мне, это старый орел, древний орел, и все хотел он понять плутни врагов своих, пять сотен лет напрасно пытался понять он козни их и нынче, перед смертью, пришел он к людям... Хочет, наконец, понять — потом помереть. Это мудрый орел... Видно, вообще орлы мудрые, потому живут долго, очень долго

живут... А чего Господь пожелал орлу такой долгой жизни, подумал Млег, особо — орлу? Что он делать должен в этом мире?.. А он, орел этот, сколько веков прожил и сколько видел?.. А понимают орлы то, что видят? Увидят — заметят — поймут и думают. И помнят. Помнят ли?.. Если помнят, то трудно как им живется. Все в этом лютом мире видеть-понять и помнить и... жить так пять сотен лет... Если так, если виденное помнит, то самый первый враг орлу — это память. Да, память. На небе у орла нет врагов, а на земле самый лютый враг орла — память... И если орел этот из старых орлов, памятью веков перегруженных, то он бежал из гнезда, запутавшись в памяти... Как трудно живут орлы и как трудно умирают... А все же, сколько этому орлу лет?.. Трудно годы орла сосчитать.

Орел не уходил. Сидел на камне будущего карниза и косил поорлиному. Млег пробовал поймать его взор, хотя бы — его направление, но это тоже трудно. Чтобы взор орла поймать, орлом надо родиться... Но куда, на кого глядит орел? Видит его? Приметил?

А может... может, — сердце Млега трепыхнулось, — может, этот орел из орлов Эхни... Из орлов Черной горы... Цирнкатара орлов... Орлов Арчглора... Может, этот орел с утесов реки Мшо и он, он сам, парень с верхнего околотка города Муша, видал уже этого орла там, в верхнем околотке, на утесе реки Мшо... Как только глаза откроет, вспоминает Млег, как только в окно выглянет — видит он на утесе орла. Может, видал он этого орла там, в верхнем околотке города Муша, на утесе реки Мшо и... орел видал его... Видал и нынче узнал и спустился с небес и сидит и смотрит на него — парня с верхнего околотка города Муша.

— Я парень с верхнего околотка города Муша, — шепнул орлу. — Сын гаджи Петроса, Млег... Парень с города Муша, с верхнего околотка...

Сидел орел долго.

А как взлетел, сердце у Млега взметнулось вслед ему. Что-то оторвалось от сердца и ушло за орлом.

Орел летел к Армянскому хребту, и, откуда только взялось, вспомнил Млег сказку — о мальчике, что летал, сидя на спасительных крыльях орла: пересекал море и сушу, над полными тьмы и злых духов мирами летел к своей земле, к своему берегу — солнечному и светлому и теплому.

***

Не появлялся больше орел.

Каждый день ждал его Млег, но он не появлялся. И так долго глядел Млег на камень, на котором орел сидел, что стал орлом ка-

мень. И когда построили здание, когда настало время камни для карниза тесать, он отделил орел-камень и стал тесать.

В узорах карниза царь птиц не значился, и инженер пытался удержать мастера Млега от мысли такой, но Млег был парнем с верхнего околотка города Муша, а камень давно был для него орлом, и предстояло орлу, развернув крыла, увенчать этот дом.

И он тесал орла с раскинутыми крылами.

Работал отрешенно. И как он запомнил все подробности, что так к месту возникали: крутые крыла, напрягшиеся когти, согнутая шея, клюв дугой, острые глаза, косой взор... Когда он ухватил взор орла, заметил все это когда? Попросту камень был спящим орлом и тихо пробуждался, глаза открывал.

И вот остроглазый, к прыжку готовый орел застучал по карнизу дома. Поглядел издали мастер Млег, и сердце у него встрепенулось как в тот день, когда орел полетел к хребту и сердце ему всколыхнул. И вновь Млег вспомнил сказку — о мальчике, что сидя на крыльях орла пересекал море и сушу, над полными тьмы и злых духов мирами летал к своей земле, к голубому берегу — солнечному и теплому и светлому.

И он, взгляд на орле, зажег папиросу и понял, отчего в тот день объявился орел; оставив горы, оставив раскаленные и прохладные утесы, гнездо свое в вышине оставив, отчего он весеним днем в город влетел и сел у него на виду.

Пришел, объявился, чтобы он сказки об орле сочинял. Вот об этом орле.

День-деньской сочинял сказки: за работой, после нее, на улице, дома, во сне...

И сказками заполнились дни...

2.

Жил да был мальчик. Звонкоголосый мальчик, наивный и ловкий и очень рассеянный. И между делом день-деньской сказки придумывал. И любил он в горах бродить. Бродить и петь и домики себе строить. И всякий раз, увлекшись песней и игрой, так далеко от села уходил, что терялся. И всякий раз родители искали-находили заблудшего мальчика и домой возвращали.

Даровитый и рассеянный мальчик этот как-то раз с песней из дома — из села выходит и с песней, играя, по горам бродит. Поет и цветы собирает, слагает о цветах песни и поет, бежит за мотыльками, за птичками бежит, слагает о мотыльках и птичках песни и поет, играет с родником и зацветшими камнями его и песню о родничке-

колокольчике поет и домик сооружает над родником и, песней и игрой увлекшись, так далеко от села уходит, что вновь теряет дорогу.

Бежит туда — нет села, сюда бежит — нет села, зовет-кричит — нет ответа, и темнота наступает. Садится у родника и ждет: вот мать придет... вот-вот отец придет. Ждет-пождет, но матери нет, нет отца. И засыпает он. Мальчик и во сне мать свою ждет, но бесы появляются. В полночь, когда луна исчезает под облаками, бесы набегают и крадут мальчика.

Утром мальчик глаза открывает — он в чужом краю. Бездомный и нищий бродит он, расспросы ведет — ответить некому, поет — некому прислушаться, одинокий и сирый бродит из страны в страну и доходит до города из туфа. Орла окаменевшего замечает на карнизе высокого и красивого дома. В отчаянии обращается к орлу маленький бродяга, к орлу взывает.

— Орел, орел, — поет маленький бродяга, — песня моя заглохла — дай мне твой голос могучий, ноги мои заблудились — голубую дорогу свою укажи мне, колени мои устали, орел, дай мне крылья твои, глаза мои устали, дай мне очи твои, орел. Орел, орел, — поет мальчик с чужбины, и вдруг окаменевший орел стучит, расправляет крылья и летит с карниза к мальчику.

— Садись на спину, — говорит орел, — я домчу тебя до твоей матушки

...Между делом мастер Млег сказки придумывал — все о том же мальчике-бродяге и том же орле. А сказки все слагались одинаково: песней увлекшись, мальчик заблудился, похищен был бесами, стал бродягой и к матушке в объятия попал на крыльях орла.

Трудная задача.

Начало сказки мирным было: мальчик сам по себе, не мучая Млега, оставался в темноте, заблудившись. Вторая часть сказки потрудней была: оживить окаменевшего орла. Каким это чудом орел с карниза спускался и крылья для мальчика раскрывал?

В первой сказке чудо это являлось с песней мальчика. Но такое чудо может случиться лишь однажды. А сказок придумать множество надо Каждый день. Каких еще чудес сочинить? И рылся он в памяти, переживал, стонал, напрягал воображение и самозабвенно, как звонкий мальчик с песней своей, искал он чуда. И находил.

В одной из сказок звонкий мальчик поет и просит, целый день песней просит, но орел не слышит его. И является в сумерках над орлом старик — в облачных одеждах, с облачной бородой и золотой тросточкой.

— Дедушка, дедушка, — молит мальчик, — скажи орлу, чтобы к матушке меня домчал. Скажи, прошу тебя. Я песню спою тебе, дедушка.

И старик в облачных одеждах и с облачной бородой стучит по орлу золотой тросточкой, и царь птиц слетает с карниза и берет мальчика на крылья свои.

Но чудо такое может случиться лишь однажды, в одной сказке. А сказок придумать множество надо. Каждый день.

В сказке одной возле мальчика появляется вдруг девчушка, с синими глазами и золотистыми волосами светлолицая девчушка.

— Сестрица, сестрица, вели орлу доставить меня к матушке. Я песенку тебе спою.

— Неси братика к матушке его, — велит девчушка, и царь птиц слетает с карниза и берет мальчика на крылья свои.

Но чудо такое может случиться лишь однажды, в одной сказке. А сказок придумать множество надо. Каждый день.

А чудо... Чудес не так уж много.

И решил как-то мастер Млег сменить героев сказки. Но от мысли от орла отказаться содрогнулся: орел был его орлом и пребудет таковым на всю жизнь. Строил он уже другой дом, вдали от орла, но перед глазами был он, венец всего, орел — на каждом камне, что тесал, на каждом камне, что в стенку складывал, сидел он, орел. Царь пернатых должен был остаться в сказке, а мальчик... мальчик... Жаль его, звонкоголосого и наивного и рассеянного.

Млег очень уж к сиротке привязался. И решил не менять героев сказки.

Выход был вновь в спасении бродяжки. И — на крыльях орла. Орла — да и только. И этого орла, на карнизе. Выходом было лишь чудо.

И мастер Млег искал напряженно, чудо искал и находил. И шел домой пьяный.

— Я парень с верхнего околотка города Муша. — Так отвечал он, когда здоровались с ним. — Города Муша, — замедлил шаг и подчеркнуто, — с верхнего околотка.

Было чудо — была сказка, и возвращение домой желанным казалось.

А дом стоял на берегу Зангу, прислонившись к утесу, с торчащими камнями, не очень удобно расположенный. Строить его приходилось с промежутками, как из детдома бежать удавалось. И в подружки себе сиротку выбрал, чтобы не ночевать одному в хижине.

— Открой, Астхо, открой дверь, — стучался в дверь пьяным, — я это, Астхо, парень с верхнего околотка города Муша... Дверь открой, Астхо, я сказку принес тебе...

И так — годы напролет.

И так — до Отечественной войны.

На войне, на поле боя, не было у Млега времени сказки придумывать.

И желания тоже. И надобности никакой.

Война сама была сказкой — о бесах, плененном ими мальчике и чуде оживления каменного орла. А если все же вспоминал в дали далекой каменного орла на карнизе, то вспоминал с улыбкой, прижав автомат к груди, и представший взору его каменный орел, тут же встрепенувшись, слетал с карниза и крылья перед бродячим мальчиком раскрывал.

И так — на всем боевом пути, и так — до Берлина.

— Открой, Астхо, открой дверь, — в Берлине Млег потерял пальцы правой руки и домой беспалым вернулся, и беспалой рукой в дверь постучал, — открой дверь, Астхо, это я, парень с верхнего околотка города Муша...

Товарищи по работе, те, кто с войны невредимыми вернулись, друзья-каменщики считали, что Млег молоток держать уж не сможет, правая ведь — обрубок. Но молоток каменщика взял он в левую и в первый же день новое чудо сказочное сотворил.

И домой вернулся пьяный.

— Открой, Астхо, открой дверь, я это, парень с верхнего околотка города Муша, дверь открой, Астхо, я сказку тебе принес...

И так — годы, э-э-э, долгие годы.

3.

Жил да был мальчик звонкоголосый... — Весенняя ночь, старая дверь на крючке распахнута навстречу шуму ливня, курит, на подушку откинувшись, Млег и новую сказку старается связать.

В старом доме на утесе Зангу он уже жил один. Один был, и дверь раскрыта днем и ночью, всякий миг кажется мастеру Млегу, что вот-вот кто-то явится. Астхо уже не было в живых. Сыновья свой очаг создали — по всему городу разбрелись, и мастер Млег, уже на отдыхе, от старого дома не отрекался. Маленькая проходная, комната, старый платяной шкаф — с зеркалом сердечком, шелестящие стулья из тростника, тахта и напротив тахты на стене — увеличенная фотография старого орла. Младший сын снимал по просьбе Млега и — мастерской рукой.

Младший сын поблизости жил и каждое утро, отправляясь на работу, вставал на пороге.

— Парень с верхнего околотка города Муша! — весело звал сын.

— Жив я, — будто из пещеры доносился голос мастера Млега.

— Что тебе надо?

— Жив я, — повторял мастер Млег.

— Новый наказ, новая сказка? Хочешь — ораву твою созову?

— Делом займись, — отвечал мастер Млег.

Сказок уже сыновьям и внукам не сказывал. Без любви внимали, не переживали за мальчика-бродягу, и обижался мастер Млег.

Жил да был мальчик звонкий... — Весенней ночью, когда дверь на крючке распахнута навстречу шуму ливня, мастер Млег, растянувшись на тахте, сказку слагал, на снимок орла глядя. Дошел до вершины сказки и запутался: чуда, окрылявшего каменного орла, все не было.

— Выдумки проклятые эти исчезли, что ли? — Вышел с сердцем стесненным, сел у порога, взор — в темноту и полное гулов ущелье, закурил и чудо искать продолжал.

Все больше нервничал. Швырнул папиросу, но рука снова к карману потянулась.

— Тьфу, дьявольское отродье. Чудо не является, трудно... трудно очень является, папироса тому причиной — мозг в тумане... Надо поменьше курить или вовсе бросить. — но рука сама тянется к карману. И чтобы руку обмануть, руку обмануть-занять, достал нож, нашел кусок дерева и стал строгать. — Значит... значит, жил да был...

Долго сидел у двери. Рассказ сначала начинал, все начинал сначала, бедный мальчик тут же терял дорогу — бродягой делался, кружил по странам — до орла, венца всего, доходил и... терялся он вместе с мальчиком.

Ливень смыл все чудеса.

Потом холод почувствовал, дрожь по жилам поползла, мастер Млег затрясся и в дом вошел и на тахту, не раздеваясь, кинулся.

Так и глаза закрыл, в руках — нож и обструганная дощечка.

Смежил веки и открыл их.

Мастер Млег открыл глаза, и взор его пал на нож.

И как только глаза открыл, взгляд его на блестящий клинок ножа упал, почудилось ему, что кто-то в ухо ему стал шептать. Удивленный и растерянный, шепоту он внимал.

— Эге... Этот нож... Отчего в сказке нож места не нашел?.. Ведь столько времени (э, сколько времени)... Отчего резец не стал героем сказки?.. Если бесы... Были, были бесы и в каждой сказке, а нож?.. Резец должен быть. Обязательно. И действовать. Как главный герой.

Встал огорченный, и рука сама к карману потянулась. Сердито похлопал по карманам и стал шагать взволнованный

— Глупец ты, глупец!.. Отчего во всех сказках бедный мальчик наивно песней увлекся-заблудился-потерял к селу дорогу, к дому и стал пленником бесов, песней увлекся-заблудился и стал добычей бесов, во всех — во всех сказках песней, наивный, увлекся-заблудился, потерял дорогу к дому и ночью стал добычей бесов, ночью стал добычей бесов, ночью — добычей бесов...

— Глупец ты, глупец... Погляди, как во всех сказках воля зла сбылась... Да, сбылась, пленили бесы бедного мальчика... И кто так сложил эти сказки? Он сам... Парень с верхнего околотка города Муша. Мастер Млег... сам он или зло? Замешано, конечно, зло, ох, замешано, но он автор сказок: зло так пожелало, и он покорно волю его исполнил и сказки сложил.

— Глупец ты, глупец... Как же тогда... дело простое, в одной и только в одной сказке могли увлеченного песней и игрой мальчика бесы пленить. И то — в назидание. Только в одной сказке мог сделаться мальчик бродягой, только в одной оживить каменного орла (лишь раз бывает чудо!) и доставить мальчика к матушке его. И конец. Такое — лишь в одной сказке. А остальные все — все сказки надо слагать о том, как звонкоголосый мальчик синим утром поет в восхищении и бродит по горам, песни слагает и резцом пятку себе колет, колет резцом... вот так, — и ножом в пятку себя уколол, — колет резцом, чтобы ноги не заблудились-забыли дорогу в село... Как звонкий мальчик, солнцем очарован, стоит на вершине горы и песни творит, но сначала все вокруг резцом очертил, вот так, — и ножом сердито очертил все вокруг, — вот так очертил, а за круг этот, что резцом очерчен, бесы не проникают. Как мальчик звонкий, очарован ущельем и рекой, по ущелью текущей, и утесами очарован, на вершине утеса стоит, чтобы в союзе с ущельем и утесом домик выстроить, но перед тем об утес точит резец, вот так, — а тот утес, о который резец точили, — к тому утесу бесы не подходят. Как звонкий мальчик...

Сказки шли разные одна за другой, без усилий, без боли. Мастер Млег шагал, весь переполненный ими (он чувствовал, что сердце покалывает, но не обращал внимания), шагал взволнованный с ножом в руке, по дороге стулья расталкивал, дорогу себе пробивал и, не переводя дыхания, сказки слагал. С новым героем-резцом так сразу они являлись, что не успевал сказку до конца доводить. И, не вытерпев, бросал одну и к другой переходил. Мастер Млег спешил...

— Как... как... как мальчик звонкий у родника садится, и солнцем раскаленный резец в роднике охлаждает, а тот родник, в котором шипел раскаленный резец, к тому роднику бесы не ходят... Как однажды...

Однажды увлеченный песней мальчик вновь дорогу в село потерял, и ночь настала, и мальчик песню о звездах сложил, звездами очарован, песню сложил и ждал матушку, отца ждал, уснул в ожидании, положив под голову резец, резец — под голову... А когда засыпаешь с резцом под головой, то бесы не подходят. Камень однажды может стать орлом, чудо такое — однажды свершиться, а резец — это само чудо. Чудо. Талисман. И резцом-талисманом мальчик сам себя спасает.

Звонкоголосый мальчик. Резец-талисман. И бесы притаившиеся.

Вот о них и надо было слагать и рассказывать сказки... сказывать Астхо, сыновьям и внукам сказывать, и так — от сына к сыну.

Глупец ты, глупец...

*

— Парень с верхнего околотка города Муша! — Сын с порога позвал, но ответа не дождался. — Спит отец?

— Чего тебе надо? — спросил сын и в дом вошел.

В дом вошел, и улыбка на лице застыла. Отец, одетый, с ножом под головой, на полу вытянулся.

— Отец, — шепнул сын и стал на колени. — Отец. — Осторожно тронул его. — Отец... — шепнул он.

Все вокруг на красном крашеном полу вкривь и вкось расчертив, с ножом раскрытым под головой, спал вечным сном парень с верхнего околотка города Муша.

Пер. с армянского Зульфа Оганян.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ И ИЗВНЕ

К 10-летию переписки Натана ЭЙДЕЛЬМАНА и Виктора АСТАФЬЕВА

Н.Я.ЭЙДЕЛЬМАН — В.П.АСТАФЬЕВУ

Уважаемый Виктор Петрович!

Прочитав все или почти все Ваши труды, хотел бы высказаться, но прежде — представлюсь.

Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор (член СП), 1930 года рождения, еврей, москвич; отец в 1910-м исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу, затем — журналист (писал о театре), участник Первой мировой и Отечественной войны, в 1950 — 55-м сидел в лагере; мать — учительница, сам же автор письма окончил МГУ, работал много лет в музее, школе; специалист по русской истории XVIII-XIX веков (Павел I, Пушкин, декабристы, Герцен).

Ряд пунктов приведенной «анкеты» Вам, мягко говоря, не близок, да ведь читателя не выбирают.

Теперь же позволю себе высказать несколько суждений о писателе Астафьеве. Ему, думаю, принадлежат лучшие за многие десятилетия описания природы («Царь-рыба»); в «Правде» он сказал о войне, как никто не говорит. Главное же — писатель честен, не циничен, печален, его боль за Россию — настоящая и сильная: картины гибели, распада, бездуховности — самые беспощадные.

Не скрывает Астафьев и наиболее ненавистных, тех, кого прямо или косвенно считает виноватыми...

Это интеллигенты — дармоеды, «туристы»; те, кто орут «побасурмански», москвичи. восклицающие «Вот когда я был в Варне, в Баден-Бадене». Наконец, — инородцы.

На это скажут, что Астафьев отнюдь не ласкает также и своих, русских крестьян, городских обывателей.

Так, да не так!

Как доходит дело до «корня зла», обязательно все же появляется зловещий горожанин Гога Герцев (имя и фамилия более чем сомнительны: похоже на Герцена, а Гога после подвергся осмеянию в связи с Грузией). Страшны жизнь и душа героев «Царь-рыбы», но уж Гога куда хуже всех пьяниц и убийц вместе взятых, ибо от него вся беда.

Или по-другому: голод, распад, русская беда — а тут: «было что-то неприятное в облике и поведении Отара. Когда, где он научился барственности? Или на курсах он был один, а в Грузии другой, похожий на того всем надоевшего типа, которого и грузином-то не поворачи-

вается язык назвать. Как обломанный, занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая *доверчивый северный народ* подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами. Жадный, безграмотный, из тех, кого в России *уничижительно* зовут *«копеечная душа»,* везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от немытых рук залоснившимися, везде он швыряет деньги, но дома усчитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать, для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет отроду, всунутого в джинсы, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек» (рассказ «Ловля пескарей в Грузии», журнал «Наш современник», 1986, N 5, стр.125).

Слова, мною подчеркнутые, несут большую нагрузку: *всем* — надоели кавказские торгаши, «копеечные души»; то есть, иначе говоря, у всех *у нас* этого нет — только у них: за счет бедных («доверчивых») северян жиреет отвратительный Гогия (почему Гогия, а не Гоги?).

Сила ненавидящего слова так велика, что у читателей не должно возникнуть сомнений: именно эти и многие грузины (хорошо известно, что торгует меньше 1% народа) — в них особое зло и, пожалуй, если бы не они, то доверчивый северный народ ел бы много отнюдь не подгнивших фруктов и не испытывал недостатка в прекрасных цветах.

«Но ведь тут много правды, — воскликнет иной простак, — есть на свете такие Гоги, и Астафьев не против грузинского народа, что хорошо видно из всего рассказа о пескарях в Грузии».

Разумеется, не против: но вдруг забыл (такому мастеру непростительно), что крупица правды, использованная для ложной цели, в ложном контексте — это уже неправда и, может быть, худшая.

В наш век, при наших обстоятельствах только сами грузины и могут так о себе писать или еще жестче (да, кстати, и пишут — их литература, театр, искусство давно не хуже российского); подобное же лирическое отступление, написанное русским пером, та самая ложка дегтя, которую не уравновесят целые бочки русско-грузинского застольного меда.

Пушкин сказал: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделит со мною это чувство»; стоит задуматься — кто же презирает, кто же — иностранец?

Однако продолжим. Почему-то многие толкуют о «грузинских» обидах по поводу цитированного рассказа; а ведь в нем же находится одна из самых дурных, безнравственных страниц нашей словесности: «По дикому своему обычаю, монголы в православных церквах устраи-

вали конюшни. И этот дивный и суровый храм (Гелати) они тоже решили осквернить, загнали в него мохнатых коней, развели костры и стали жрать недожаренную, кровавую конину, обдирая лошадей здесь же, в храме, и пьяные от кровавого разгула, они посваливались раскосыми мордами в вонючее конское дерьмо, еще не зная, что созидатели на земле для вечности строят и храмы вечные» (там же, стр.133).

Что тут скажешь?

Удивляюсь молчанию казахов, бурятов. И кстати бы вспомнить тут других монголоидов — калмыков, крымских татар — как их в 1944 году из родных домов, степей, гор «раскосыми мордами в дерьмо...»

Чего тут рассуждать? — Расистские строки. Сказать по правде, такой текст, вставленный в рассказ о благородной красоте христианского храма Гелати, выглядит не меньшим кощунством, чем описанные в нем надругательства.

170 лет назад монархист, горячий патриот-государственник Николай Михайлович Карамзин, совершенно не думавший о чувствах монголов и других «инородцев», иначе описал Батыево нашествие; перечислив ужасы завоевания (растоптанные конями дети, изнасилованные девушки, свободные люди, ставшие рабами у варваров, «живые завидуют спокойствию мертвых»), — ярко обрисовав все это, историк-писатель, мы угадываем, задумался о том, что, в сущности, нет дурных народов, а есть трагические обстоятельства, — и прибавил удивительно честную фразу: «Россия испытала тогда все бедствия, терпенные Римскою империей.., когда северные дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собою только в силе». Карамзин, горюющий о страшном несчастии, постигшем его родину, даже тут опасается изменить своему обычному широкому взгляду на вещи, высокой объективности: ведь ужас татарского бедствия он сравнивает с набегами на Рим «северных варваров», среди которых важнейшую роль играли древние славяне, прямые предки тех, кого громит и грабит Батый.

Мало этого примера, вот еще один! Вы, Виктор Петрович, конечно, помните строки из «Хаджи-Мурата», где описывается горская деревня, разрушенная русской армией: «Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Также была загажена мечеть... Старики-хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми, и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения».

Сильно писал Лев Ннколаевич Толстой. Ну, а если вообразить эти строки, написанные горцем, грузином, «иностранцем»?

С грустью приходится констатировать, что в наши дни меняется понятие народного писателя: в прошлом — это прежде всего выразитель высоких идей, стремлений, ведущий народ за собою; ныне это может быть и глашатай народной злобы, предрассудков, не поднимающий людей, а опускающийся вместе с ними.

На этом фоне уже пустяк фраза из повести «Печальный детектив», что герой в пединституте изучает лермонтовские переводы с немецкого вместе с «десятком еврейчат». Любопытно было бы только понять, — к чему они в рассказе, если ни до, ни после больше не появляются? К тому, может быть, что вот-де в городе развивается страшный, печальный детектив, а десяток инородцев (отчего десяток: видно, все в пединституте сконцентрировались? Как видно, конкурс для них особенно благоприятный?) — эти люди заняты своей ненужной деятельностью? Или тут обычная астафьевская злая ирония насчет литературоведения: вот-де «еврейчата» доказывают, что Лермонтов портил немецкую словесность, ну а сами-то хороши?..

Итак, интеллигенты, москвичи, туристы, толстые Гогии, Гоги Герцевы, косомордые, еврейчата, наконец, дамы и господа из литфондовских домов: на них обрушивается ливень злобы, презрения, отрицания. Как ни на кого другого: они хуже всех...

А если всерьез, то Вам, Виктор Петрович, замечу, как читатель, как специалист по русской истории: Вы (да и не Вы один!) нарушаете, вернее, очень хотите нарушить, да не всегда удается — собственный дар мешает оспорить — главный закон российской мысли и российской словесности. Закон, завещанный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы размышляя о плохом, ужасном, прежде всего, до всех сторонних объяснений, в и н и т ь с е б я, брать на себя; помнить, что нельзя освободить народ внешне более, чем он свободен изнутри (любимое Львом Толстым изречение Герцена). Что касается всех личных, общественных, народных несчастий, то чем страшнее и сильнее они, тем в большей степени их первоисточники находятся внутри, а не снаружи. Только подобный нравственный подход ведет к истинному, высокому мастерству. Иной взгляд — самоубийство для художника, ибо обрекает его на злое бесплодие.

Простите за резкие слова, но Вы сами, своими сочинениями, учите подходить без прикрас.

С уважением,

Н.Эйдельман

В.П.АСТАФЬЕВ — Н.Л.ЭЙДЕЛЬМАНУ

Не напоивши, не накормивши, добро не сделавши — врага не наживешь.

(Русская пословица)

Натан Яковлевич!

Вы и представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо. Кругом говорят, отовсюду пишут о национальном возрождении русского народа, но говорить и писать одно, а возрождаться не на словах, не на бумаге, совсем другое дело.

У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги. Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам «эсперанто», «тонко» названном «литературным языком». В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, — собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже «приберем к рукам» и, о ужас! О кошмар! Сами прокомментируем «Дневники» Достоевского.

Нынче летом умерла под Загорском тетушка моей жены, бывшая нам вместо матери, и перед смертью сказала мне, услышав о комедии, разыгранной грузинами на съезде: «Не отвечай на зло злом, оно и не прибавится»...

Последую ее совету и на Ваше черное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшим гноем еврейского, высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего привычного уже «трунения»), не отвечу злом, хотя мог бы, кстати, привести цитаты и в первую голову из Стасова, насчет клопа, укус которого не смертелен, но...

Лучше я разрешу Ваше недоумение и недоумение московских евреев по поводу слова «еврейчата», откуда, мол, оно взялось, мы его и слыхом не слыхивали?!

«...этот Куликовский был из числа тех поляков, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил себе в собственность, между ними было и несколько жиденят...» (Н.Эйдельман. «История и современность в художественном сознании поэта», стр.339).

На этом я и кончу, пожалуй, хотя цитировать мог бы многое. Полагаю, что память у меня не хуже Вашей, а вот глаз, зрячий, один, оттого и пишу на клетчатой бумаге, по возможности кратко.

Более всего меня в Вашем письме поразило скопище зла. Это что же Вы, старый человек, в душе-то носите?! Какой груз зла и ненависти клубится в вашем чреве? Хорошо хоть фамилией своей подпи-

сываетесь, не предаете своего отца. А то вон не менее, чем Вы, злой, но совершенно ссученный атеист — Иосиф Аронович Крывелев и фамилию украл, и ворованной моралью — падалью питается. Жрет со стола лжи и глазки невинно закатывает, считая всех вокруг людьми бесчестными и лживыми.

Пожелаю Вам того же, чего пожелала дочь нашего последнего царя, стихи которой были вложены в «Евангелие»: «Господь! Прости нашим врагам, Господь ! Прими и их в объятия». И она, и сестры ее, и братец обезножевший окончательно в ссылке, и отец с матерью расстреляны, кстати, евреями и латышами, которых возглавлял отпетый, махровый сионист Юрковский.

Так что Вам, в минуты утишения души, стоит подумать и над тем, что в лагерях вы находились и за преступления Юрковского и иже с ним маялись по велению «Высшего судии», а не по развязности одного Ежова.

Как видите, мы, русские, еще не потеряли памяти и мы все еще народ Большой, и нас все еще мало убить, но надо и повалить.

Засим кланяюсь. И просвети Вашу душу всемилостивейший Бог!

14 сентября 1986 г.
село Овсянка.

За почерк прощения не прошу — война виновата.

Н.Я. ЭЙДЕЛЬМАН — В.В.АСТАФЬЕВУ

Виктор Петрович, желая оскорбить — удручили. В диких снах не мог вообразить в одном из «властителей дум» столь примитивного, животного шовинизма, столь элементарного невежества. Дело не в том, что расстрелом царской семьи (давно установлено, что большая часть исполнителей была екатеринбургские рабочие) руководил не «сионист Юрковский», а большевик Юровский. Сионисты преследовали, как Вам, очевидно, неизвестно, совсем иные цели — создание еврейского государства в Палестине. Дело не в том, что ничтожный Крывелев носит, представьте себе, собственную фамилию (как и множество столь несимпатичных «воинствующих безбожников» разных национальностей). Дело даже не в логике «Майн Кампф» о наследственном национальном грехе (хотя, если мой отец сидел за «грех Юрковского», тогда Ваши личные беды, выходит, — плата за раздел Польши, унижение «инородцев», еврейские погромы и прочее). Наконец, дело не в том, что Вы оказались неспособным прочесть мое письмо, ибо не ответили ни на одну его строку. (Филологического вопроса о

происхождении слова «еврейчата» я не ставил. Да, кстати, ведь Вы заменили его в отдельном издании на «вейчата». Неужели цензуры забоялись?)

Главное: найти в моем письме много зла можно было лишь в цитатах. Ваших цитатах, Виктор Петрович. Может быть, обозлившись на них и обрушились?..

Несколько раз елейно толкуя о христианском добре, Вы постоянно выступаете неистовым — «око за око» — ветхозаветным иудеем. Подобный тип мышления и чувствования — уже есть ответ о причинах русских и российских бед: «нельзя освободить народ внешне более, чем он свободен изнутри»

Спор наш (если это спор) разрешится очень просто: если сможете еще писать хорошо, лучше, сохранив в неприкосновенности нышешний строй мыслей, — тогда Ваша правда. Но ведь не сможете. Последуете примеру Белова, одолевшего таки злобностью свой дар и научившегося писать вполне бездарную прозу (см. его роман «Все впереди» — «Наш современник», 1986 г., NN 7-8).

Прощайте, говорить, к сожалению, не о чем. Главный Ваш ответ — собственный текст, копию которого, — чтобы Вы не забыли, — возвращаю.

28 сентября 1986 г.

Н.Эйдельман

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ

БОРЬБА С ЕВРЕЕМ

УЗЕЛ ПЕРВЫЙ: Октябрь 86-го — Март 87-го

1.

Один писатель — Натан Яковлевич — написал письмо другому писателю — Виктор-Петровичу. В том смысле, что вы, мол, полегче, не очень ругайтесь. На грузин, монголов, евреев и других представителей. Что, мол, раньше, бывало, другие писатели, тоже хорошие и тоже русские, — так не делали. Они все больше своих ругали, чужих хвалили. Ну, в общем, все понятно, и лучше не надо. Вежливое, вроде бы, такое письмо, сразу видать, человек культурный. А тот, другой писатель,

Виктор Петрович, этому первому возьми и ответь. В том смысле, что от такого слышу и лучше бы ты заткнулся. Вы, евреи (а писатель Натан Яковлевич и в самом деле еврей, хоть и пишет как русский), вы батюшку нашего царя русского погубили вместе со всем семейством, вы про нашего Пушкина, русского поэта, Бог знает что насочиняли, стыдно сказать, и на нашего Достоевского, русского писателя тоже, **черт-те что** возвели, и за это мало вас, гадов, давили, мало вас, птицы поганые, жгли, и короче — Бог вас прости, просвети и помилуй. Аминь!

А первый-то этот, Натан Яковлевич, который еврей, — как такой неприятный ответ получил, так сразу прямо схватился за голову, сел за стол и недолго думая написал на этот ответ — ответ. Чтобы, значит, последнее слово за ним. В том смысле, что и не ждал, не гадал от вас такой злости-ненависти. Рассуждаете вы, извините, как вылитый Гитлер, и невежество проявляете бесподобное. Вас послушать, так выходит, что сионист, что еврей — одна будто шайка. А на самом деле сионист — это партия, а еврей — вовсе нация, вон оно как!..

Отчего-то в такой, дурацки-сказовый стиль — под Лескова, Зощенко, под Евг. Попова — тянет при изложении этой истории. История вроде бы мрачная, жуткая, а все-таки в чем-то анекдотичная, Может, так: нечто мрачное, жуткое стоит за ней, за этой историей, а сама она — все-таки анекдот? Потому, наверное, и разошлись эти три письма с такой неслыханной радиоскоростью и с такой же неслыханной широтой. Так стремительно распространяются мрачные слухи и злободневные анекдоты. Отчего здесь видятся мрак и жуть, я думаю, ясно, и об этом речь у нас еще впереди. А вот отчего анекдот? Оттого, пожалуй, что Эйдельман, посылая свой внешне корректный, но по сути уничтожающе резкий выпад, словно бы и не ждал ответного выпада или ждал тоже вполне корректного, по правилам и в пределах литературных приличий. И тут ему — хоп! Такой сюрприз. Помереть со смеху.

И еще один как бы просчет Эйдельмана... Говорю «как бы», потому что не очень уверен, потому что при всей солидарности с общим смыслом не вполне понимаю исходный замысел: писать Астафьеву, а не про Астафьева... Так вот, такой, как будто, просчет, что письмо Эйдельмана лояльно на сто процентов, чуть подправить, а может, и так сойдет, — и сейчас в «Известия»; а Астафьев ответил свободно и даже рискованно, помянул не только «еврейский гной», все-таки пока еще вслух никем не дозволенный, но и царя — в откровенно монархическом духе, и Бога не просто так, для словца ввернул, а высказал себя безусловно верующим, — немало для известного советского писателя, лауреата Государственных премий. Браво, Астафьев!

Браво. Но вот, такое быстрое время: все меняется, только успевай поворачиваться. И Астафьев, и те, кто с ним солидарен, поворачиваются и хорошо успевают. И они-то знают в каждый момент,

что можно, чего нельзя. Эйдельман правильно осторожничал, обстановка была не в его пользу, и даже интеллигенция, и даже сейчас — далеко не вся на его стороне. А Астафьев правильно распоясался, ни черта ничем он не рисковал, все это уже было можно и даже нужно. Самая главная наша газета выразила — косвенно — ему поддержку и впрямую — порицание Эйдельману. Он, оказывается, написал письмо, «провоцирующее на резкий ответ», — поступок безнравственный и недостойный. Ай-яй-яй, Натан Яковлевич, что же вы так?

2.

Действительно, что же вы так, Натан Яковлевич? Это уже я говорю, обернитесь, пожалуйста. Я здесь; совсем с другой стороны. Что же вы так? Ведь вы же писали не для «Известий»... А тогда к чему эти все предисловия, туда и обратно характеристики? Про отца своего. Просто больно читать. И что, вы действительно полагали, что Астафьев не знает вашего имени, никогда не слышал о ваших статьях и книгах? И даже если иметь в виду, что обращение к нему — это только форма, а текст изначально был предназначен широкой публике, то и тогда, уж наверно, не столь широкой, чтобы ей вот так, с нуля, представляться. «Член СП...» Это автор «Лунина», книг о Павле и Карамзине. Мельтешенье какое-то, простите меня, ради Бога!

И в другую сторону, к адресату — опять какие-то странности. «Лучшие за многие годы описания природы». Это уже из школьных сочинений, из нашего с вами детства. «Роль описаний природы в романах Тургенева...»

Но все-таки главное мое недоумение, главное расхождение мое с Эйдельманом — в его втором письме, заключительном. «В диких снах не мог вообразить в одном из «властителей дум» столь примитивного, животного шовинизма, столь элементарного невежества». Это мне уж совсем непонятно. Если это такая игра, вообразить, мол, не мог, то слишком серьезен общий тон и контекст. Если же, что скорее всего, Эйдельман и впрямь здесь вполне серьезен и искренен, то чем же тогда при чтении трудов Астафьева было занято его воображение? Да нет, он, конечно же, все увидел и понял, и не только в одном рассказе о Грузии, но даже и в той чудесной книге с лучшими за тридцать или сорок лет описаниями природы... Все увидел и назвал своими словами. А все-таки, значит, обольщался, надеялся, верил, что для Астафъева это не главное, что сам он, подлинный, чист и добр, а это все так, случайный налет, издержки литературного производства. Что Астафьев, получив такое письмо, пусть и очень резкое, но справедливое и написанное преданным ему читателем (чему вот они как раз доказательства), хлопнет себя кулаком по лбу и скажет: «Господа, что ж

я! Вот уж действительно, черт попутал...» И сядет писать совершенно новый рассказ, полный братской и нежной любви к инородцам и лучших — уже за двести лет — описаний природы...

Нет, не верится мне в эту веру-надежду, а видится здесь интеллигентская робость, да уже ставшая для всех подсознательной непременная фора народным писателям, то есть, значит, писателям из народа, то есть Бог его знает, что это значит, но все понимают... Из народа — значит, из той среды, где люди зарабатывают себе на жизнь не умственным, не дай Бог, трудом, а физическим, вот, может быть, так...

3.

Есть такое «народное» убеждение, специфическое, может быть, для России: что труд — это только труд физический, а умственный — это уже не труд, а как бы забава. И народный писатель — он тоже, конечно, труженик, но только потому, что, во-первых, сам прошел через тяжкий (непременно тяжкий!) физический труд; во-вторых, потому, что пишет о людях, занятых этим настоящим трудом, то есть является как бы дальнейшим их воплощением. Очевидно, далее, что там, где труд настоящий, там, следовательно, и настоящая жизнь, ну и совсем уже просто и ясно — настоящие люди. Только они могут быть объектом серьезного, уважительного рассмотрения, только они своей многотрудной жизнью заслужили право на сочувствие и поддержку. Разумеется, это прежде всего крестьяне. В городе настоящий (физический) труд также имеется, но по преимуществу не такой тяжелый, а главное, не занимающий столько времени, с перерывами, свободными вечерами, выходными днями и отпусками. И поэтому подлинность, настоящесть города — всегда под сомнением. Горожане, а в особенности интеллигенты, те, что в самое что ни на есть рабочее время вместо того, чтобы заниматься трудом, крутят ручки красивых и даже иностранных приборов или, пуще того, листают бумажки и книжки, — эти люди никак не стоят серьезного, уважительного слова писателя, а достойны лишь осмеяния и издевательства. «Поёшь? Это мы все поём. А вот что ты делаешь?» Этот извозчицкий вопрос к Шаляпину нависает, сурово и неотвратимо, над всей городской интеллигенцией...

Итак, деревне — наше почтение, уважение и пристальное внимание, городу — наше презрение, сатиру и юмор, крепкое крестьянское наше словцо, ядреный снежок в сутулую спину. Деревня своя, город чужой, крестьяне свои, горожане чужие. Свои — хорошо, чужие — плохо. Усиливая понятие «горожане» до предела возможностей, получаем, естественно, москвичей. Усиливая понятие «чужие» до «басурмане», получаем, наконец, долгожданных евреев. Все, приехали.

И когда Виктор Астафьев пишет: «ваше недоумение московских евреев», — то это не географическое уточнение, а стилистическое усиление. «Евреев», да еще «московских», — двойное клеймо, обидней прозвища, страшней ругательства — не придумаешь.

И вот какой-нибудь ученый славист из Амхерста прочтет Астафьева и решит, что так все и есть. Что российские сельские жители именно так и думают, и считают всех горожан дармоедами, и умственный труд не считают за труд, и во всех своих бедах винят город, а также евреев.

Я должен вступиться за сельский народ, оклеветанный своим народным писателем. Ничего такого жители деревни не думают. Побеседуйте с любым пожилым, умным крестьянином. Он вам скажет, что да, конечно, житуха нелегкая, но и в городе, что ж, бывал он у дочки, ничего там хорошего. Да, верно, ушел с работы — и с плеч долой. Ну, а магазины, кошелки, очереди, а транспорт, нервы, руготня, толкотня, а спешка, а шум, а воздух — не дай Господь! А что зять пришел домой вечером, поел и лег, телевизор смотрит — так он и здесь, в деревне, на свежем воздухе, в собственном доме, не в бетонном улье, те же самые «Семнадцать мгновений» те же четыре раза смотрел. Нет, не заманишь! И к людям умственного труда нет у него никакого презрения, а напротив, любопытство и даже порой уважение. Он сам, многое в жизни умеющий, ценит любое другое умение, хоть и не всегда понимает его цели и смысл*. Ну, а насчет евреев... даже как-то странно. Что ему евреи, когда он их видит, где с ними соседствует? Какой у него может быть счет к евреям?.. Но вот тут-то как раз все начинается. Какой счет? Не знает крестьянин? Ну, так сейчас ему объяснят...

Побеседуйте с сельским жителем любого района, но не ездите в поселок Овсянка Красноярского края. И не потому, что поселок Овсянка — не вполне сельская местность, а скорее пригород. Потому не ездите, что именно там, в поселке Овсянка, живет народный писатель Виктор Астафьев. И наверное, его окружают разные люди, но боюсь, что всем, и дурным, и хорошим, он уже все давно объяснил. И хотя, по

---

* Я не знаю, усилит ли это мою позицию, по моим же выкладкам — не должно, но эти строки я пишу не в московской квартире, а в собственном деревенском доме, завещанном мне замечательной женщиной, Катериной Егоровной Федотовой, человеком большого природного ума и удивительного благородства. С ней мы не раз обсуждали все эти вопросы, и мнения наши почти всегда совпадали. Пользуюсь случаем почтить ее память. (Нет, не усилит. Астафьев скажет: «Ну вот, и в деревню пролезли, теперь и оттуда выкуривать!..») Молодежь, конечно, бежит, ничего не скажешь. Эти брошенные деревни — действительно страшное зрелище... Молодежь бежит — но и правильно делает, слава Богу, понимает, что телевизор — еще не все. Потому что любая деревня — дыра, и любой поселок тоже дыра, и любой маленький город — тоска зеленая. Но уж это совершенно другой вопрос, здесь не история с географией, здесь имперская геополитика... («Еврейская!» — немедленно вставит Астафьев. Ну, пусть порезвится.).

собственному его признанию, земляки книг его не читают (их читают ненавистные ему горожане), но авторитету его писательскому — поверить должны. Вот это и страшно!

4.

— А может, хватит, — скажет благородный читатель. — Надоело, сколько можно об одном и том же? Все вы надоели, и те двое со своей перепиской, и ты в придачу. — «Страшно, страшно!» — Ничего не страшно, разве что глупо. Тот умник прицепился к усталому, больному, контуженному на войне старику, старик в ответ болтанул чепуху, а ты теперь во всем этом копаешься, подводишь платформу под каждое слово. Ну, какой здесь смысл, какая опасность, мало ли кто что мелет... Разве Астафьев призывает к погрому? Требует организации штурмовых отрядов? Или выставляет свою кандидатуру на пост генерального секретаря?..

Мед бы пить устами благородных читателей, а не тот сучок, что мы им предлагаем. Но уж что имеем... Я отвечу так: конечно, призывает к погрому. Не к убийствам пока, но выселений не избежать, а погром в культуре провозглашен однозначно и без вариантов. Что же касается штурмовых отрядов, то чего их требовать, они уже есть, и похоже, в очень немалом количестве. И на пост генерального секретаря — тоже есть кого выдвигатъ, не Астафьева, но уж лучше бы, может, Астафьева... Нет, старик не болтанул — проболтался. И тогда в ответ, с другой стороны, надо, чтобы прозвучал хоть чей-нибудь голос, пусть хоть мой, если больше никого не нашлось. Надо, чтобы было громко сказано, что при всех моральных и литературных нюансах, при всех возможных оговорках-поправках, ставить Астафьева и Эйдельмана на одну доску, объявлять их соавторами — это просто трусость, это безнравственность, — если не хуже.

Вы заступились за женщину, вам врезали в рыло, а потом и вас, и того волокут в участок, и все это вместе называется «драка в автобусе», потому что в глазах равнодушных зрителей вы не отличаетесь друг от друга. Чтобы каждый понял: надо, чтоб врезали каждому...

Эйдельман написал письмо необходимое, и единственное, что меня в нем не устраивает, это именно попытки сохранить равновесие, в основном — вся вводная часть, позолота пилюли. Впрочем, вот и в конце... «Если сможете еще писать хорошо, лучше, сохранив в неприкосновенности нынешний строй мыслей, тогда ваша правда! Но ведь не сможете» и т.д. Рискованно! Очень рискованно. То есть, может быть, в данном конкретном случае риск невелик, но если воспринимать эту фразу как формулу... Представьте, что не Астафьеву она адресована, а Федору Михайловичу Достоевскому, который после «Pro и

Contra» писал, как известно, все лучше и лучше, сохранив, сколько можно судить, в неприкосновенности весь строй своих мыслей по данной теме. Кстати, если б хотел Астафьев поддержать литературный характер спора, мог бы и привести достоевских «жидишек-полячков» в противовес горцам Льва Николаевича. А ведь тоже — «сильно писал» Федор Михайлович! Много всякого было в русской литературе, в том числе и в великой...

Но Астафьев предпочел, на нашу удачу, высказаться прямо и просто, почти без цитат, и даже эпиграфом взял пословицу (кстати — еще один аргумент против тех, кто считает, что он и в мыслях не держал публикацию. Кто же это станет снабжать эпиграфом письмо, предназначенное одному читателю? Да ведь и не оговаривал такого условия, и посылал письмо не другу, — врагу, и знал, что писательские письма вообще, рано ли, поздно ли, публикуются, есть у них такое странное свойство... Нет, не выходит!).

5.

Астафьев высказался прямо и просто, и теперь мы знаем: то, что прежде в его произведениях могло показаться случайным или неоднозначным, на самом деле именно так и есть. И пожалуй, признаем, все-таки прав Эйдельман. «В диких снах не мог предположить» — это все-таки верно. Потому что одно дело видеть, читая, что автор не любит евреев (всяких прочих тоже не обожает, но этих особенно!), и совсем другое — чтобы вот так, такими словами, какие с ходу и не придумаешь, хотя уж чего не наслышался в жизни, и даже прочтя несколько раз, никак не запомнишь, не выстроишь в нужном порядке... Как это там? «Перекипевший гной еврейского высокоинтеллектуального высокомерия...» Сильно пишет Виктор Петрович, не слабже Толстого!

Не знаю, как вы, а я в первый момент испытал какое-то оцепенение. Трудно поверить, что это, *такими* словами, прямо вот так всерьез на бумаге написано, что это не шутка, не мистификация. Словно давнее мое затравленное детство в Марьиной Роще опрокинулось вдруг на меня из прошлого — всей своей беспощадной глупостью, унизительной пошлостью и подростковой безглядной злобой. И еще, быть может, нечто похожее бывало, опять-таки в детстве, когда, уверенный в равновесии и разумности мира взрослых, вдруг узнаешь об этом мире невозможную, постыдную тайну... Никак не складывалось во взрослый, серьезный текст это сочетание злобных прозвищ, дурацких обозвищ — и каких-то как бы литературных слов, каких-то как бы культурных ссылок... Так бы мог выражаться в эмигрантском романе какой-нибудь мерзостный персонаж, крайне сомнительный по достоверности.

Я и теперь иногда, перечитывая, вновь испытываю все эти чувства, главное из которых — сонная оторопь, нереальность, невоспроизводимость. Вот сейчас возьму, перечту еще раз — и там уже будут другие слова, трезвые, взрослые, лишь внешне, быть может, созвучные тем, чудовищным. Слава Богу, почудилось!..

Но нет, не почудилось, все так и есть. И главное, есть такое чувство, что самое страшное — все впереди, как крылато выразился Василий Белов. Самое страшное — когда понимаешь (когда вспоминаешь), какая за этим стоит многолюдная страшная сила, и действующая, и еще больше — потенциальная. И поэтому я, рискуя уже окончательно лишиться расположения разборчивого читателя, все-таки считаю необходимым покопаться в этом... замечательном тексте.

6.

«...У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть свои противники и враги».

Два вопроса... Занятие, конечно, глупое, к черту вопросы, и что тут неясного? И все-таки, пожалуйста, давайте отнесемся серьезней. Ведь это впервые за много лет сконцентрировалась в небольшом документе вся коллективная пошлость и злоба. Итак, вопрос первый: необходимость врагов. Отчего непременно *должны* они быть? Ну, то, что есть, это ладно, допустим, так уж случилось, и что тут поделать. Но вот отчего должны? Дело в том, конечно, что национальное возрождение мыслится сегодняшними его идеологами не просто как расцвет и развитие национальной культуры, как раскрытие, допустим, всех заложенных в народе возможностей, — а мыслится оно, прежде всего, как процесс расово-очистительный, то есть не столько создание нового или даже возрождение забытого старого, сколько очистка национальной жизни — искусства, литературы, повседневного быта — от всего, что те же идеологи сочтут нерусским. Главное действие здесь — не строительство, а оздоровительное разрушение: искоренение, уничтожение и отбрасывание того, что сделано и делается нерусскими руками или даже русскими, но в чуждой традиции. Вот по этим рукам — и головам, разумеется, — и должен быть направлен главный удар. Враги вовсе не те, кто противится, и вряд ли такие вообще найдутся, а те, кто делает не то, что надо, или же делает неважно что, будучи сам не тем, кем надо. Они-то, быть может, живут, ничего не ведая, но поскольку живут они, что-то *делая* — проявляя при этом свои нерусские качества, то они и враги, и дети их — тоже враги, и те, что есть, и те, что еще родятся. И таких врагов действительно не может не быть, они и есть изначально, по исходному замыслу.

Здесь, конечно, самый антиисторический ум непременно дернется к аналогиям. Да, разумеется, обыкновенный нацизм. Мне кажется, что Астафьев и его друзья этой параллели не страшатся и от нее не прячутся. Ведь не могут они быть настолько наивны, чтоб и вовсе ее не видеть. Как писали некогда наши сатирики: «Скальпы... Были индейцы по форме не правы, но по сути — им трудно порой возразить».

Дальше эту свою позицию Астафьев объясняет довольно подробно. Сначала это выглядит вроде бы только смешно.

«Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы...»

Кто же мешает? Так и видишь воочию, как дюжий, бодрый Натан Эйдельман с автоматом «узи» наперевес принуждает несчастного Виктора Петровича (больного, контуженного старика) плясать «семьсорок» и петь «Хаву Нагилу»...

«...танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам эсперанто, тонко названном «литературным языком».

А здесь — что конкретно он имеет в виду? Язык без диалектизмов и неорусизмов? Но ведь именно так, без этих измов, писали в России все и всегда, и Пушкин, и Бунин, и Чехов, и кого ни назвать, кроме тех, кто по замыслу прибегал к стилизации. Что-то тут загнул Виктор Петрович слишком хитрое, не расшифруешь. Но дальше зато — все просто, понятно и уже ни капельки не смешно.

«В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские и — жутко подумать — собрания сочинений собственных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже «приберем к рукам» и — о ужас! о кошмар! — сами прокомментируем дневники Достоевского».

Он иронизирует, Виктор Петрович, с юморком мужик, а ведь так все и есть. И то, что устремления шовинистические, и лермонтоведы русские, то есть т о л ь к о русские, — и в самом деле страшно подумать! И куда же тех, остальных-то, денут? Вышлют? Организуют специальный лагерь? Или просто уволят и всем поголовно велят заниматься Шолом-Алейхемом? И только ли евреев будет касаться этот новый порядок? Он ведь не пишет «русские, ну и грузины». Значит, Ираклий Луарсабович — тоже? А книги, статьи, что — уничтожить? А открытия, добытые данные — не приниматъ во внимание? Масса вопросов. А как с полукровками? Юрий Тынянов? А квартероны? А те, кто крестился? А кто не записан? Трудностей будет много, Виктор Петрович. Но, конечно, все они разрешимы, в мировой практике опыт имеется, а сил и средств никаких не жалко, очень уж результат должен выйти хороший. Христи-а-ннейший такой результат. И еще: духовный, моральный и нравственный.

Нет, не надо думать, что «приберем к рукам» — это какая-то отвлеченная фигура. Именно это — «приберем к рукам» — имеет в виду Виктор Астафьев, и даже юродское «о кошмар, о ужас» — тоже несет определенный смысл. Это, видимо, плаксивые еврейские причитания, как он их себе представляет, реакция на захват национальными силами редакций, театров и киностудий.

Я знаю, читатель меня вновь остановит: стоит ли с таким педантизмом, с такой серьезностью? Ты же сам, скажет читатель, своим комментарием поднимаешь цену этой бредятины. Что ты уцепился за этого Астафьева? Оставь его, скаламбурит читатель, отставь его!..

Нет, скажу я, не оставлю, не имею права. Нет, не поднимаю цену — отдаю должное. Потому что, повторю еще раз, не в Астафьеве дело. Он произнес не свои слова, он их не придумал. Он услышал их, и слышал не раз, и кто мне скажет, сколько человек, ну хотя бы сколько русских писателей — повторяет их ежедневно?

Итак — лермонтоведы-пушкиноведы... Почему р у с с к и е лермонтоведы могут появиться только в результате очистительной национально-освободительной борьбы? Как и в чем конкретно евреи им сегодня препятствуют? Не дают бумаги, отнимают перо? Галдят, мешают сосредоточиться? Или те все-таки пишут, несмотря на галдеж, а эти им потом не дают печататься? Представляете, хорошая книга о Лермонтове, да автор ее оказался, к несчастью, русским. Ну, и не пропустили, понятное дело, не прошел по пятому пункту... И ропот, и движение российской общественности во главе все с тем же обществом «Память» — за отмену национальности в паспортах как главного средства дискриминации...

Остается одно: что евреи пишут, и русские пишут, и все печатаются (я, конечно, догадываюсь, что не все печатаются, но, насколько я знаю, не по тем причинам, а если по тем, то с другого конца приложенным), все печатаются, а надо — чтобы т о л ь к о русские. И опять все сходится к тому же самому, других вариантов нет. К устранению сходится, к уничтожению.

Но ведь Астафьеву (Крупину, Белову, Распутину) будет мало, чтоб печатались только русские. Ведь понадобится, чтобы печатались только свои русские, те, что правильно понимают интересы народа и родины, те, что учат (непременно учат!) читателя быть достойным г р а ж д а н и н о м о т е ч е с т в а (любимое выражение) и несут ему то, чего ему не хватает: духовность, мораль и нравственность.

7.

Та мораль, которую несет Астафьев (или, скажем точнее, которой несет Астафьева), есть доведенная до анекдота, но типичная для

всего движения смесь: декларируемой любви — и осуществляемой ненависти. Напыщенные, дутые призывы к добру, чистоте, смирению, бескорыстию, братству и вообще ко всем положительным качествам, какие только можно найти в словаре, и готовность, выкрикивая эти сладкие лозунги, бить, давить, хлестать хлыстом, заливать свинцом все чужое, не наше, непривычное, странное, не похожее или на то, как у нас, или на то, как, по нашим данным, должно быть у них.

Вот пример из тех же «Пескарей в Грузии» — образец богатой астафьевской прозы, изобилующей красками и нюансами*.

«Витязь! Витязь! Где ты, дорогой? Завести бы тебя вместе с тигром, мечом, кинжалом... (эх, завести бы, да и... нет, тут пока о другом) но лучше с плетью (вот!) в Гали (нет, это лишь смысловая связка) или (теперь настоящий адрес) на российский базар, чтоб согнал, смел ты оттуда модно одетых, единокровных братьев твоих, превратившихся в алчных торгашей и деляг, имающих за рукав работающих крестьян и покупателей...»

«Имающих работающих...» Это же надо! Прямо так и имают, во время работы... Язык, действительно, не эсперанто. Впрочем, Астафьеву, конечно, виднее, с ним всегда — чистота происхождения, лучший учитель. Высшей пробы арийская кровь стучит ему в голову и подсказывает: «Работающих. Имающих. Не оглядывайся, все правильно, я с тобой...» И она же, видимо, диктует ему и такие мечтательные ряды, с вольной игрой умилений, проклятий, грамматических подчинений и падежей.

«Вот если бы на головы современных... (кого?! Эх!.. Нет, так прямо пока нельзя, ладно, потом уж, в письме Эйдельману...) осквернителей храмов, завоевателей, богохульников и горлопанов (дальше сам черт себе ногу сломит, но это и хорошо, и прекрасно, потому что из этой неразберихи свой читатель выберет то, что и без того уже знает...) — на всех человеконенавистников, на гонителей чистой морали, культуры, всегда создаваемой для мира и умиротворения, всегда бесстрашно выходящей с открытым добрым взором, с рукой занесенной (ну! ну!.. нет —) для благословения к (?) труду, любви, против насилия, сабель, ружей и бомб» (?!).

Передохните немного.

Но учтите, что и на этом я вас не оставлю, ни вас, ни Астафьева. Это надо прочесть, через это надо пройти, преодолевая брезгливость, вникая в детали. Потому что это не просто дурная литература, это евангелие воинствующей черни, манифест ксенофобии.

* Все главное об этом рассказе Эйдельман уже высказал. И все же я позволю себе пройтись еще раз и собрать крохи с его стола.

«Дело дошло до того, — пишет Астафьев, — что любого торгаша нерусского, тем паче кавказского вида по России презрительно клянут и кличут «грузином».

Он опять вынужден сглаживать и кривить душой. В действительности дело дошло до большего. «Черномазым», «черножопым» кличут по России человека вида нерусского, а тем паче кавказского, торгаш он или не торгаш, неважно; а еще кличут «чучмеком» и «чуркой», если он по виду из Средней Азии. А как по России клянут и кличут общежитие университета Патриса Лумумбы? «Обезьянником» кличут его по России, по крайней мере, по всей Москве. Ну-ка, Виктор Петрович, какую горькую правду отражает это меткое народное прозвище? Не ту же ли самую горькую правду, что подсказала народному писателю Астафьеву яркий пассаж об отвратительных, алчных раках, «ухватками и цветом точь-в-точь похожих на дикоплеменных обитателей каких-нибудь темных, непролазных джунглей?» Не иноплеменные — так дикоплеменные, но кто-нибудь из чужих народов всегда под рукой для таких сравнений и прозвищ. И не знает имени, и не видел ни разу, а знает, что мерзкие и похожи. «Точь-в-точь!..» Браво, Астафьев!

В прошлом году мне случилось присутствовать при разговоре дворников у магазина «Ядран», где в длинных очередях за югославской экзотикой большинство действительно составляют кавказцы. Грузили мусор в машину. Я тоже грузил. Одна здоровенная бабадворничиха развлекалась тем, что гонялась с лопатой за мышатами, выбегавшими из мусорной кучи. Почти каждого погоняла и убивала одним, а нет, так двумя или тремя ударами. Оказалась неожиданно поворотливой. Она и сказала: «Так бы и этих черножопых армяшек (видите: не грузин, а армяшек!) всех до одного передавить — вот бы воздух очистился». Другая, маленькая, востренькая, ей возразила: «Ну нет, всех не передавишь, вона их сколько. На них радиацию бы из Чернобыля...» А та, первая, ей в ответ: «Ну да, скажешь еще, радиацию. Небось бы сами и передохли, а они бы выжили, тараканы чертовы...» Она, конечно, сказала не «чертовы», другое слово, но суть не меняется. Мужики, надо отдать им должное, в разговор не вступали. Грузили и все. Народ, он тоже бывает разный. А думаю, был бы здесь Виктор Астафьев, он бы даже вступился за бедных армяшек и сказал бы, только слегка посмеиваясь, что лопатой — это, конечно, нельзя, это как бы даже и не по-христиански, а вот нагайкой, то есть хлыстом, — да и вымести всех этих модно одетых, которых дошло до того, что кличут... ну и так далее.

8.

Но, конечно, поиски народной правды в виде точных сравнений и ярких прозвищ не ограничиваются союзными республиками и нацменьшинствами. В своем уникальном рассказе-энциклопедии Астафьев, едучи в автомобиле по Грузии, находит возможность высказаться об Америке. Выражая, как и следует народному писателю, народное отношение к этому предмету, хорошо, казалось бы, разработанное на протяжении многих десятилетий, он, тем не менее, находит яркий незабываемый образ, возникающий как бы из самой окружающей реальности. (Последует довольно большая цитата. Потерпите: надо.)

«Пышными золотистыми шапками цвело неведомое мне и невиданное растение. (...) В сорок четвертом году в предгорьях формировался после героического рейда кавказский корпус. В Батуми поступал овес из Америки — для военных лошадей, и вместе с овсом прибыло вот это растение. Сначала на него никто не обратил внимания, потом им любовались и тащили по садам, потом, когда он, паразит, как и полагается янки, захмелел, задурел и на чужой на кавказской стороне начал поражать собою лучшие земли, сжирать поля, чайные и табачные плантации, сады и огороды, спохватились, давай с ним бороться, но поздно, как всегда, спохватились. Заокеанский паразит не дал себя истребить, плодится, щупальцами своими, которые, изруби на куски и кусочки, все равно отрастут, ползет во тьме земли, куда растению хочется. Круглый год трясет веселыми кудрями, качает золотистой головой, пуская цветочную пыль и ядовитые лепестки (анчар?!) по вольному приморскому ветру, по благодатной земле, клочок которой тут воистину дороже золота. Н-да, подарочек!»

Нет, конечно, мне и самому не хочется подробно комментировать этот яркий текст, отмечать стойкость стереотипов, удивляться отношению фронтовика к американской помощи, которую он в те тяжкие годы не мог ежедневно не чувствовать. Это все очевидно. Но вот, как хотите, а в страшных щупальцах паразита (который, конечно же, — американский империализм!), в щупальцах, которые, изруби на куски, а они, падлы, все равно отрастают, ясно вижу и — кого? — точно: евреев. И уверен, так именно было задумано. Посторонним, может, и непонятно, а своим понятно, и чужим понятно. Совсем своим и совсем чужим... этим самым... щупальцам...

(А еще я все-таки вскользь отмечу изящество, с которым наш воинствующий охранитель живого великорусского языка, говоря об одном и том же предмете, переходит от среднего рода к мужскому, через общие для обоих родов местоимения, как бы забыв, с чего начинал. «Вот это растение — им любовались — он, паразит..» И вроде бы грех мелочиться — и грех промолчать, все маячит проклятое «эсперанто»...)

Итак, что же в итоге? Торгаши-инородцы, темнокожие дикари, империалисты, б..., сионисты — это все хорошо. Но как же с дружбой народов? Для дружбы народов выделяем романтику прошлого: храм в Гелати, Шота Руставели — и ловлю тех пескарей, что в заглавии. Здесь для автора «Царь-рыбы» хорошая возможность показать подлинно бескорыстное отношение старшего брата к братьям меньшим, которые ведь, в сущности, как дети малые: все-то им покажи, научи, подсоби, успокой... И также — произнеси устами грузин ключевые (и конечно же, символические) слова об этой самой дружбе народов.

«А когда Отар, зацепив за куст, впопыхах оборвал удочку, то схватился грязными руками за голову и уж собрался разрыдаться, но я сказал, что сей момент налажу ему другую удочку, привяжу другой крючок, и он, гордый сын Сванских хребтов, обронил сдавленным голосом историческое изречение:

— Ты мне брат! Нет, больше! Ты мне друг и брат!»

И это ведь все — тот самый Отар, о котором с такой брезгливостью, с таким презрением писал автор в пространном отрывке, уже цитированном Эйдельманом... Вообще — чрезвычайно любопытный факт и по-человечески очень отрадный, что даже в таком искусственном, принужденном тексте подлинная правда каким-то образом находит выход и прорывается, помимо желания автора. И богатые, беспечные и толстые грузины выглядят в рассказе несравнимо естественней и стократ привлекательней брюзгливого, угрюмого автора, заранее знающего про всех и вся, кому как надо и как не надо, неуклюже лавирующего между искренней злобой и притворным, вымученным дружелюбием..

И, Господи, какая всеохватная, тотальная пошлость, какая тоскливая, серая муть! (О кошмар, о ужас!..) И кстати, ловит он рыбку — в мутной воде, в застойном, загнившем водохранилище. Не странно ли, что такому любителю всяких намеков не пришла на ум эта явная и простая символика?

УЗЕЛ ВТОРОЙ: Август 87-го — Октябрь 88-го, и дальше, и дальше...

1.

Что самое страшное в расовой ненависти? Роковая предначертанность, неотвратимость. Не столько отсутствие аргументов, сколько отсутствие необходимости в них. Неотвратимость — и обезличение. В глазах расиста человек-жертва перестает быть человеком, вот этим, конкретным, говорящим и думающим, носителем дурных и хороших

черт. Все это не имеет никакого значения, разве только чисто технологическое: если буйный, значит придется связать.

Все духовные свойства личности, как и физические свойства тела, существуют лишь в постоянном воспроизводстве, во взаимодействии с окружающим миром, реальным или воображаемым — или, скажем, материальным и идеальным. Личность должна воспроизводиться. Лишите ее этой возможности — и ее не станет.

Не позволяй душе лениться.
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь...

Я уверен, что именно воспроизводство души имел здесь в виду Николай Заболоцкий, а иначе дидактический этот стишок превращается в некую пошловатую пропись, что, кстати, и происходит с ним всякий раз в повседневном цитировании. Толочь воду в ступе — значит не просто заниматься ненужным, бессмысленным делом, это значит иметь дело с ничем, с чем-то, не имеющим содержания...

Человек чувствует свое существование, ощущает себя живой душой лишь в той степени, в какой его личные качества соотносятся с внешним миром. Именно таким, диалогическим способом, по затертой, а все-таки гениальной бахтинской формуле, он себя проявляет. Диалог — это партнерство, соседство, дружба, безразличие или даже ненависть. Один человек тебя любит за то-то, другой ненавидит за что-то другое, а третий просто так ненавидит, сам не знает, за что, ненавидит и все. Но и он, не могущий объяснить, ненавидит именно тебя, не кого-то другого, ненавидит сочетание тех самых качеств, которые и составляют тебя как личность. Пусть тебе перед ним никогда не оправдаться, пусть тебе и не захочется этого делать, пусть ты сам ненавидишь в ответ и так далее, но потенциально такая возможность (оправдаться) — имеется, и наличие ее — не умозрительная спекуляция, а вполне объективная категория. В этом акте ненависти нет ни роковой неизбежности, ни, что еще важней, обезличения. Это чувство направлено к тебе, к твоим личным качествам, ты и в нем, как и во всем другом, проявляешься, воспроизводишься, осуществляешься...

Совершенно иное дело — ненависть расовая. В том ограниченном, замкнутом пространстве, где вас только двое, ты и расист, ты вдруг с головокружительной, нигде более не возможной реальностью ощущаешь себя при жизни умершим. Тело твое есть, вот оно, а души, а личности — нет! Это жуткое, ни с чем не сравнимое чувство, ни на что не похожее. Я уверен, что во всем бесконечном спектре че-

ловеческих состояний и ощущений этому чувству аналогий нет. Те, кто его испытал, со мной согласятся.

2.

Часто слышишь, что нервозность евреев в еврейском вопросе, их болезненная чувствительность к любым враждебным проявлениям, их надоевшая всем подозрительность — следствие повышенного чувства коллективизма, чувства стадности, воспитанного, допустим, иудейской религией, где народ был всегда важнее индивидуальности, и т.д. и т.п. То есть как бы наличие коллективного разума, коллективной души — ну как вроде у муравьев. Вопросы религии и метафизики я оставляю побоку, мне они не по силам, да и мало занимают меня в данный момент. Что же касается коллективизма, то он у евреев, конечно, имеется, как же без этого, но, уверен, ничуть не в большей степени, чем у прочих цивилизованных малых народов, даже, может, у некоторых он развит больше, но это сейчас неважно, важно не это. Потому что повышенная нервозность евреев объясняется отнюдь не коллективизмом — грубейшая, нелепейшая ошибка! — а совсем наоборот, чувством индивидуальности, обостренным чувством самосохранения личности. Нет, я не думаю, что и этого качества от природы евреям отмерено больше, чем прочим. Но у многих других ему не угрожает гибель, а у евреев оно — постоянно в смертельной опасности. Повторяю, я сейчас говорю не о смерти тела, до геноцида, допустим, еще далеко. Но простейший и страшный парадокс заключается в том, что вражда к народу, ненависть к нации отзывается не ущемленным чувством коллективнзма, а ущемленным, порой до нуля уничтоженным — пусть на краткий момет, но именно так! — ощущением собственной неповторимости, чувством личности.

И поэтому всякий антисемит — палач, и не потенциальный, а ныне действующий. Он уже сегодня, сейчас, в данный момент — убивает твою неповторимую душу, твою индивидуальность.

Что говорит антисемит — дурак или умный, эрудит-теоретик или новичок-дилетант, — что говорит он, вслух или мысленно, стоящему напротив еврею, когда хочет его уничтожить? — «Все вы такие!» — И достаточно, больше ничего не требуется. Ни тому, ни другому. Ни тому, чтоб убить, ни другому — чтоб умереть. И не надо объяснять, какие «такие», да он и не знает и не думал об этом. Если спросить, он ответит первое, что придет в голову. Богатые, злые, хитрые, хваткие, наглые... Не имеет значения, важно, что в с е. Будь он хоть трижды дурак, он знает нутром, где у жертвы расположен жизненно важный орган. Потому что в данный момент в нем, именно в нем, а не в жертве его, действует коллективный, массовый разум. В нем он живет, через него проявляется, награждает его за нехитрую службу, упрощая неимоверную сложность жизни, сводя ее к самым простым соотношениям, освобождая от необходимости поиска, от мук творчества, подстав-

ляя вместо всей этой утомительной сложности безотказно действующий стереотип, многократно проверенный эволюцией... «Все вы такие!» — и дело сделано. Как в игре в «морской бой» по клеточкам. Попал! Убит!

3.

Три года прошло со времени переписки, а она не теряет своей актуальности. Напротив, сегодня скажи «переписка» — и сразу ясно, какая. Много за это время случилось хорошего, такого, что и поверить трудно, но много хорошего не случилось, такого, во что уже начали верить, а вместо этого — случилось немало плохого, и кое-что произошло воистину страшное. Главное событие — резня армян в Сумгаите. Оказалось, что в нашей пуританской стране, в нашей нормированной жизни — возможно и это. Только чуть ослабь тиски нормировки, только чуть резче прояви непроявленное, только чуть, самую малость — подтолкни и направь...

И если прав Виктор Астафьев и страдания народа — это возмездие, то пусть он нам теперь и ответит, прибавим к вопросу Эйдельмана и наш, чем перед Богом и людьми провинились армяне — первый в мире христианский народ, во все неисчислимые века своей истории только и делавший, что защищавшийся?

Сумгаит показал. Да простят меня великодушно армяне за то, что об этой кровоточащей трагедии я упоминаю вскользь, мимоходом, и даже как бы в служебных целях, в разговоре о совсем другом, о своем... Видит Бог, я на это смотрю не так. Но, во-первых, это — отдельная тема, и, надеюсь, я когда-нибудь к ней вернусь. Во-вторых, о «своем» — не о другом, о том же. Здесь как раз, я думаю, важно увидеть, что погромная психология везде одинакова и дети разных народов, ее исповедующие, оказываются на момент близнецами-братьями.

Сумгаит показал, что все уже было, все бывает и все еще может быть*. И еще — в который раз, уже и не счесть, но никто никогда ничему не научится, — что от страшных слов до страшных дел расстояние гораздо меньше, чем хотелось бы думать...

Что последует, какие такие «события» — за очередным письмом Виктора Астафьева? Нет, уже не Эйдельману — в газету «Правда», чтоб никто не мог сказать: «Не хотел публикации»...

---

* Так и вышло: рубка в Тбилиси, резня в Фергане... Какой поселок или город — следующий?

Письмо, строго говоря, коллективное, и Астафьев, быть может, только подписывал, — но ведь не под дулом же пистолета! Да и текст, хоть и тупо канцелярский по стилю, но по теме и пафосу — вполне подходящий.

«Нас поражает четко обозначенная в ряде органов печати тенденция опорочить, перечеркнуть многонациональную советскую художественную культуру, *особенно русскую*...»

Это что? А это — вот оно что: «У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть свои противники и враги». Браво, Астафьев! Браво, Астафьев, и браво, Василий Белов, и герой социалистического труда Валентин Распутин, тоже ведь не под угрозой смерти вставший в ряд с Михаилом Алексеевым и Петром Проскуриным — другими большими героями того же труда...

Бог с ними со всеми. Вопрос, как всегда, — что делать?

Можно долго и подробно, и очень остроумно высмеивать каждый антисемитский выпад, явный и скрытый, печатный и устный. И радоваться, что правда на твоей стороне, а на их стороне — лишь темная злоба и голая сила. И чем больше у них будет силы и злобы, тем у нас будет больше шуток, сарказма и юмора. И боюсь, вам придется помереть со смеху, и боюсь, в самом буквальном смысле. Что такое журнально-газетная полемика или даже такая же, скажем, война? Ерунда, фантом. Страшно вовсе не это, страшно другое. Когда каждый автобус, и каждый вагон метро, и любой уличный тротуар — станет источником ненависти и личной опасности. Когда в двух очередях обнаружив по одному юдофобу, ты будешь в третьей подозревать уже всех, а когда обойдется и чуть успокоишься — как раз и нарвешься в четвертой... И ты станешь бояться выходить на улицу, потому что в каждом прохожем будешь видеть убийцу — если не тела твоего, то души, бесмертной, бесценной, единственной личностни... А со временем, что ж, быть может, и тела. Сумгаит показал.

Что делать? Не знаю. Знает лишь тот, кто точно знает, что надо уехать. Таким остается только завидовать. Их позиция всегда хорошо обоснована, и для них вопрос на сегодня снят. А еще знает тот, кто думает, будто знает. Кто уверен, что можно жить себе и жить, не обращая внимания, нормальной жизнью русского интеллигента, ну там еврея по происхождению, мало ли какие у кого были предки, здесь в России ни с кем и не разберешься толком, у кого татары, у кого буряты, у кого немцы, у кого евреи... Жить и жить, никогда, ни в какой ситуации, ни даже наедине с самим собой не чувствуя, не признавая себя евреем. А если в автобусе или в очереди... Ответить: — Да сам ты — какой ты русский? Научись сперва говорить грамотно! — Ну и что-нибудь там еще остроумное, так, чтоб тут же все и померли со смеху. А если окружающие тебя не поддержат и придется тебе помирать в одиночестве — выйти и пересесть в другой автобус, не на этом же свет клином со-

шелся. А когда это будет во всех автобусах или хотя бы в каждом третьем... Да не будет этого, не может быть!

Может! И вспомним, уже бывало в сороковые — пятидесятые. А сейчас-то зла накопилось поболе. Будет так: автобус, два активных подонка, пять пассивных подонков, двадцать пять любопытствующих и еще пять — нормальных людей, которые содрогнутся, но не решатся...

Нет, такая позиция — зависти не вызывает. Она мне понятна и даже во многом близка, но в ней есть неестественность, и принужденность, и — ненадежность.

Я всегда возмущался, когда в зарубежных списках всяких там почетных и знаменитых евреев встречал имя Бориса Пастернака. Ну какой он еврей? Нельзя же, как в советском отделе кадров, ориентироваться на запись в паспорте. Он сам евреем себя не чувствовал и даже не раз активно отталкивался от явно его раздражавшей еврейской общности, от всем надоевшей особости и культа страданий. Русский писатель, русский человек, по всему, по образу мыслей, по складу характера... Ну там кровь... но где она, эта кровь? Но вот приходят ученые-филологи, специалисты по крови, и общими усилиями показывают: да вот же, вот она. Леонид Осипович — вообще сионист (постыдный характер этого слова как бы ясен заведомо), а Борис Леонидович — наоборот, но если копнуть поглубже, вогнать подальше, да там еще слегка провернуть, то и выяснится...

И однако, среди многих врожденных еврейских пороков, обличаемых нашими патриотами, среди тяжких пороков, большей частью придуманных, есть один действительно существующий, свойственный если не Пастернаку, то все же, смею утверждать, большинству евреев, живущих в России и преданных русской культуре. Я имею в виду извечную еврейскую двойственность, которая после 48 года, и особенно после 67-то, приобретает характер двойного подданства. Да, русский язык и только он, культура, история, наконец, география; русский быт, проклинаемый и любимый, въевшийся в поры кожи, в сетчатку глаз... Но и постоянное знание, а вернее даже чувство, что где-то там, за горами-морями есть один такой островок земли, *неиностранное государство*, — предмет сочувствия, стыда, сожаления, осуждения, гордости, страха, надежды — но всегда, независимо от окраски, — особого, пристрастного отношения.

Да, господа патриоты, это есть, это есть. И можно сюда накрутить сионистский заговор, и жидомасонскую черную силу, и Антихриста, и мировое господство — все это очень удобно и просто. А можно и так сказать: да что ж тут дурного? Да во всем свободном мире ведь так и живут! Человек существует в одной культуре, сохраняя при том интерес к другой или даже воспринимая их обе как равноправные... И даже порой имеет двойное подданство — не душевное, а на-

стоящее, в паспорте... И только первобытная наша Россия, уж и так обожаемая нами до боли в сердце, до каких-то едва не истерических всхлипов, все никак не успокоится, не примирится, не примет людей такими, какие есть; все никак не привыкнет любить чужое и не видеть в нем ни угрозы, ни конкуренции.

Скучно разбирать те мотивы, злобные, тайные, которыми в действительности руководствуются вожди наших нацистских движений. Важно другое. Борьба с евреем идет широким, развернутым фронтом, нарастает стремительно, лавинообразно и снесет, конечно, не только евреев, что очевидно. Что может выставить против этой лавины трезвая русская интеллигенция? Прежний стыдливо-уравнительный повод, что евреи — такие же русские, уже не работает. Всем уже ясно, что не такие же. И единственный выход — убедить начальство и массы, что «двойное подданство» — не порок, а нормальное качество и состояние. Есть ли на это надежда? Слабая...

Но тогда мне нечем утешить евреев, убежденных в том, что они евреи, и все же *не* желающих — упаси Господь! — уезжать насовсем из этой страны. И себя мне, значит, тоже — утешить нечем. Только чудо нас может сохранить и спасти. Русское чудо под названием «авось». Авось укрепятся национальные движения и общины станут привычным обыкновением, авось настоящая русская интеллигенция сможет окрепнуть и организоваться, авось спохватится новая власть и поймет, наконец, что лозунг «Россия — русским!» — и окрик «Которые тут временные — слазь!» репетируют те же самые люди, те же самые глотки.

— Не спешите, ребята, — говорят они сегодня друг другу. — Не волнуйтесь, не дергайтесь, не все сразу, Главное у нас еще впереди. А пока — развлечемся борьбой с евреем. Дело привычное...

1986-89

«Страна и мир». Мюнхен, 1989, N5 (53)

Лев АННИНСКИЙ

ДЕЛО О ПОЩЕЧИНЕ

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ПЕРЕПИСКИ Н.Я.ЭЙДЕЛЬМАНА С В.П. АСТАФЬЕВЫМ

Спустя два года после скандала приперли-таки Астафьева к стенке: заставили высказаться. «Мировая общественность» потребовала автокомментариев. Астафьев поначалу перевел разговор на других: стал рассказывать о реакции на Переписку знакомых евреев. (О незнакомых тоже сказал: о потоке анонимных писем, но — вскользь и брезгливо). А подробнее — об одном «друге из Перми»... (Я знаю, КАКИЕ эмоции и доводы летят обычно в человека, подозреваемого в антисемитизме, если он осмеливается сказать, что у него есть «друзья среди евреев»; я эти эмоции и доводы сейчас оставлю в стороне. Мне интересна сама реакция этого еврея из Перми на Переписку. Потому что это и моя реакция: один к одному).

Так вот: пермский еврей славную Переписку... «ИГНОРИРОВАЛ СОВЕРШЕННО». То есть: ни возмущения, ни радости, ничего — ноль. Ноль принципиальный! Как человек относился к Астафьеву, так и продолжал относиться. И Астафьев это оценил.

Потому что по ходу Переписки с обеих сторон (но сначала, конечно, у зачинщика, у Эйдельмана) проступило в душах такое, что мгновенно следовало пресечь. Табу! Я и тогда, в 1986 году, едва письма зашелестели в Самиздате, интуитивно почувствовал: дурное дело! Поэтому — ни звука об этом! Отдернуть руки!

Но «мировая общественность» продолжает эти манифесты мусолить. «Мировая общественность» по-прежнему ждет комментариев. Как же: один писатель обвинил другого в антисемитизме, и тот — согласился! Отнеситесь же все как-нибудь к этому саморазоблачению! Вы — на чьей стороне? Дайте оценку!

Хорошо. Дам. Вернее, воспроизведу с точностью мою первую реакцию. За десять лет она не переменилась.

Итак, мне из рук в руки передают ЧАСТНУЮ ПЕРЕПИСКУ двух хорошо известных мне писателей.

Читать чужие письма??

— Читай, читай: это не «чужие письма»? Это — для всех: «открытые письма».

Но тогда почему сначала были посланы в частном порядке? «Открытые» принято СРАЗУ отдавать в печать. А тут — послали, дождались ответа... А чтобы обнародовать, — разрешения спросили?

Ведь написано-то с первых строк — как частное письмо. В смысле: извините, что вторгаюсь...

«Уважаемый Виктор Петрович!

Прочитав все или почти все Ваши труды, хотел бы высказаться, но прежде — представлюсь. Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор (член СП), 1930 года рождения, еврей, москвич; отец в 1910 году исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу...»

Мне достаточно. Эйдельман ведь — не просто великий историк, он еще и изысканный писатель, он отлично знает подспудную силу слов, художественный эффект их неожиданного воздействия. Можно выплести какие угодно логические узоры и за них спрятаться (сделать вид, что спрятался), но что в первой же фразе после «знакомства» Астафьев ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНУ — впечатление его тем более непреложно, что оно — подсознательное, ибо, «логически говоря», пощечину получил в 1910 году какой-то неведомый «учитель».

«Логически говоря» тут все можно и распутать. «*Представлюсь...*» Зачем? Астафьев, без сомнения, и так знает, кто такой Эйдельман, и Эйдельман знает, что тот это знает. «*Представлюсь*» — это значит: в принципе с Вами знакомств не веду и впредь вести не намерен, а являюсь к Вам, уважаемый, с единственною целью...

С какою же? А это и становится ясно, как только на пятой строке журчание автобиографии взрывается прилетевшим совсем из другой сферы звуком «пощечины».

Выходит, с этою целью и явился: дать Вам, уважаемый, по физиономии. Это и есть суть письма. Все остальное — усиливающие эффекты.

Включая и то, что, отдавая Переписку в Самиздат (явно без разрешения соавтора), Эйдельман возвращает Астафьеву копию его ответа. То есть как бы «швыряет в лицо».

Включая, наконец, и такую «мелочь», как реестр астафьевских оскорблений грузинам, монголам и «прочим шведам», кои (оскорбления) рассыпаны в астафьевских текстах и собраны Эйдельманом наскоро. (Почему наскоро? Потому что забыл, например, Корепанова из «Царь-Рыбы», за которого и «угры волжские» обиделись на него смертельно.)

Это «мелочи» в астафьевском творчестве? В принципе — далеко не «мелочи», конечно. Опаснейший перекос сознания, имевший для Астафьева как для писателя крутые последствия. Опять-таки, не надо быть сверхпроницательным, чтобы понять, как все эти дикости сочетаются у Астафьева с очевидным добродушием. Как он ухитрился

обидеть всех: и грузин, и монголов, и угров, и «французиков», и «еврейчат» — при такой немеряной широте души?

Да от широты же. От дикой неаккуратности. От нежелания на миллиметр вперед рассчитать реакцию других на твои слова. От уверенности (между прочим, чисто русской), что все, конечно же, думают и чувствуют так же, как ты. И потому можно говорить все, что Бог на душу положит. Не заботясь о последствиях. Скажет — а потом и пожалеет; а иной раз и объяснится: не хотел, мол, обидеть.

И не хотел. «Само» получается. От размаха. От неистребимой русской беспечности.

Понимал ли это Эйдельман? Наверняка понимал. ДОЛЖЕН был понимать. Но нужнее был в письме фон для «пощечины». Оттяжка, благостный отвод внимания — для неожиданности удара. Грузины... монголы... Батый... Карамзин... Вы ждете «еврейчат», а их нет. Вы их ждете, потому что в начале письма было ясно объявлено: «я — еврей». Просто так это незнакомым людям не объявляют. Человеку, может быть, вовсе и неважно, еврей ты или не еврей. Ему это, может, без разницы. А ему это тычут. Зачем? Это письмо — КЕМ написано: интернационалистом, гуманистом, человеком, или — «евреем»? Вроде бы, по всей внешней логике — интернационалистом, гуманистом, человеком. При чем же тут «еврей»?

А чтобы ждали еврейской обиды.

Ждем. А ее «нет». Грузины, монголы... Лишь под самый занавес — про «еврейчат» из «Печального детектива». Как бы и вскользь. Я, мол, не за себя, я — за общую справедливость.

Зачем же тогда с пощечины начинал?

На ЧТО Астафьеву в этом письме отвечать? На внешнее «благолепие» или на скрытые под этим «благолепием» вызов, подначку, оскорбительную, дразнящую дерзость?

Импульсивный человек — сел да простодушно, в десять минут, и накатал ответ. Писал, как есть, не соразмеряя последствий. (Впрочем, и за «десять минут» сумел вспомнить и со ссылкой процитировать из эйдельмановской книги — про «жиденят»... Досье, что ли, вел?)

Но примем и у Астафьева простодушную интонацию как закон, им самим над собою признанный.

«Натан Яковлевич!...»

Стало быть, без «уважаемого». Для частной переписки — странно. Дня «открытой» — естественно. Объявленное неуважение, да еще при наличии к письму эпиграфа — прием вполне литературный: явно «для печати».

Значит, вызов принят: боремся по правилам, предложенным противником?

И прежде всего — интонацию подхватываем. Эдакая благостная невинность. В глубине-то там — готовность убить, чуть ли не физически промеж глаз врезать, а на поверхности — благолепие! Смысл же такой: и мы вас кормили, и мы вас поили, и столько добра вам сделали, а вы все равно нам враги. Но мы все равно добрые. «Вы и представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо...» Это в каком же смысле? А в таком, что раньше не ясно было, кто враг, а теперь ясно.

Ну, так с врагами — как с врагами. Вы нас убиваете, мы — вас. Вы нашего царя убили — вы: *«евреи и латыши, которых возглавлял отпетый махровый сионист Юровский...»*

Кстати, точнее было бы: МАДЬЯРЫ и латыши. А возглавлял действительно Юровский, но был он не сионист, а коммунист, а на то, что он еврей, и ему, и всем прочим коммунистам было в высшей степени наплевать, — это только ТЕПЕРЬ стало важно.

Обычная история: злодействовал как коммунист, а отвечать должен — как еврей.

Так вот: Эйдельман-то почему перед Астафьевым за Юровского отвечать должен? Что, Эйдельман участвовал в казни царя? Или хоть как-то оправдывал это дело? Почему он за Крывелева отвечать должен, что тот взял русский псевдоним? А может быть, он, Эйдельман, как-то не так составлял энциклопедии, и теперь следует его от этого дела отстранить: и *«пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, — собрания сочинений отечественных классиков будем составлятъ сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже «приберем к рукам», и, о ужас! О кошмар! Сами прокомментируем «Дневники» Достоевского».*

Вообще, довольно странные эмоции. Что, Гомера должны комментировать только греки? Библию — только евреи? А что, если израильтянам когда-нибудь взбредет в голову издать и прокомментировать Астафьева, — им что, нельзя?

Но речь идет вроде бы не «вообще», а «в частности». Но тогда почему Эйдельман должен отвечать за каких-то редакторов, за кино, за театр, за издания классиков?

Да потому, что не ОН тут объект ненависти, а ОНИ. В письме еще удерживается Виктор Петрович, а в разговоре, два года спустя, дает себе волю: *«ОНИ же ведь думают, что это ОНИ, так сказать, пупы мира.»*

Еще мгновенье, и — «все они». *«Эта нация».*

«...Привычка этой нации соваться в любую дырку, затычкой везде быть...»

Виктор Петрович, и пермский Ваш друг, комбат саперный, — тоже? И московский друг, бывший солдат, — тоже? И тот еврей, Герой

Советского Союза, что проклял Эйдельмана за его письмо, он что, тоже затычка?

Виктор Петрович, «они» — все?!

Я задаю идиотские, провокационные вопросы — я отлично знаю, что Астафьев не антисемит, никогда им не был и не стал им от эйдельмановского письма. Но логикой этого письма он, увы, заразился. Тон Эйдельмана — принял. Точку отсчета взял — его. То есть, если называть вещи своими именами, перед нами классический пример провокации, которая — удалась.

Наверное, Эйдельман не отдавал себе полного отчета в том, что делает. То есть он не понимал, что затевает провокацию. Он действовал импульсивно и, так сказать, по эмоциональному шаблону. И по тому же шаблону получил сдачи. То есть его противник как бы подтвердил его худшие предположения, «попался», «раскрылся». И Эйдельман — на том же публицистическом нерве — поставил в переписке точку:

«Виктор Петрович, желая оскорбить — удручили...» Значит, и тут уже без «уважаемого». И со словом «оскорбление» в первой строке (начал с «пощечины», кончил «оскорблением» — сюжет!). А слабенькое, лукавое, блудливое слово «удручили» — все от той же игры: разве с Вами можно всерьез! С Вами — только «подтрунивая». Потому что Вы — шовинист, невежда, животное...

И — обрывая Переписку, — «возвращает» астафьевское письмо. То есть копию.

Вообще-то возвращать надо оригинал, если уж обижать наверняка. Или оригинал нужен как оправдательный документ, когда Переписка, пущенная в Самиздат, пойдет по рукам? Поэтому «в лицо» брошена — копия. Это несколько смазывает эффект, но не отменяет разрыва:

«Прощайте, говорить, к сожалению, не о чем».

***

Так не о чем?

Нет, к сожалению, есть о чем.

Возможны два отношения к реальному или предполагаемому антисемитизму. (На место евреев в этой схеме можете поставить кого угодно: цыган, армян, негров, чеченцев и даже, о Господи, русских). Так вот: если кто-нибудь кого-нибудь «не любит» — реагировать на эту «нелюбовь» можно двояко.

Можно — «не заметить».

А можно — не только заметить, но еще и расковырять: «вывести на чистую воду», «заклеймить», «пригвоздить».

Я предпочитаю первый путь.

Не говорите антисемиту, что он антисемит, — чаще всего он этого сам про себя не знает. Он это УЗНАЕТ, когда вы это ему скажете.

А если он ЗНАЕТ?

Не повторяйте ему это, не укрепляйте, не утверждайте его в этом. Не усугубляйте ситуации. Никто никого не обязан любить: ни евреев, ни немцев, ни американцев, ни русских. Это — личное дело каждого. Не подводите «базу». Не подсказывайте формулу. Не провоцируйте.

Ну да! — скажут мне пуганые евреи. — А погром?

В погром — сопротивляться. Прятать обреченных. Спасать. Восставать — как в Варшавском гетто. Однако погром — не образ жизни. И не только еврейская проблема. Она и начиналась — не вполне как еврейская, и уж точно — не как еврейско-русская. А начали бить — «торгаши» «торгашей» (по «пятому пункту» — греки — евреев). Братья-славяне, склонные к соборности, конечно, присоединились. Но подлость человеческая вообще охотно присоединяется к безнаказанному грабежу. Не придавайте подлости излишнего глубокомыслия. Не подвернутся «евреи» на пути дураков и подлецов — не будет и еврейского погрома.

Иосифа-то Когана (у Багрицкого) украинский мужик ненавидит разве как еврея? Нет, как экспроприатора.

Коган, однако, тоже должен соображать: что будет, если погода сменится: насильничал — как комиссар, а отвечать придется — как еврею.

Кто соображает, — тоже знает, когда и почему надо ждать погрома. Двести лет евреи в России ждут погрома. Последние двадцать лет вроде бы и государственного антисемитизма нет — все равно ждут. Людей расказачивали, размужичивали; ссылали горцев, корейцев, немцев. Перебили армян в Сумгаите, стерли Грозный с лица земли. Евреи в моде, вся слепая ненависть переключилась на «кавказцев»; цыган сжигают семьями; немцам на Волге грозят «вторым Сталинградом»...

А евреи Малаховки и московского Юго-Запада все ждут погрома. Отсюда — сверлящая жажда: отыскать и наперед уличить антисемита. «Упреждающий удар». Человек, может, и ведать не ведал, что он антисемит. Ему сказали. Он их в упор не различал. Стал различать.

Астафьев-то, конечно, не стал. Но в сердцах СКАЗАЛ, будто стал.

Другие, глядя на него, — стали.

Так что, резюмируя в десятилетний юбилей их достославную переписку, скажу, что повинны — оба. Хотя и в разной степени.

Натана Эйдельмана я знал лично, я к нему (помимо того, что бесконечно ценил как историка и писателя) питал большую человеческую симпатию (смею думать, не безответную). С Виктором Аста-

фьевым лично едва знаком (как прозаика и совестливого человека — ценю бесконечно). Кроме того, об усопших — или хорошо, или никак. А все-таки, переступая через все это, скажу: Эйдельман в том совместном грехе виноват больше. И «первый начал». И «шибко умничал». И, простите, если уж шибко умный, то должен бы ведать, что творит.

Бог с ними.

Остается «безделица»: понять, как же вести себя евреям в стране, называемой «Россия»?

***

Ответ так же прост, как все непостижимое: ВЕСТИ СЕБЯ как русским.

Кровь, происхождение, форма ушей и длина носа тут решительно ни при чем. При всем еврейском внимании к генетической чистоте («по матери», только «по матери»!) — вы же не проконтролируете, с кем дружила матушка этой матушки и всякая по восходящей прабабка. О русских и говорить нечего: поскреби русского — и найдешь КОГО УГОДНО: на том стояло и стоять будет наше многонациональное (или так: многоплеменное по истокам) государство.

Так что оставим в покое кровь и внешность, и тайну родословной, и ностальгию прапамяти: кровь «говорит» только тогда, когда дух «спрашивает»; внешность помогает (или не помогает) маркировать то, что добыто самосознанием; если я помню о еврейском происхождении моей бабушки, то это мое личное дело, и оно касается других не больше, чем казачье прошлое другой моей бабушки... Это все — только «стройматериал» личности, но увенчивается «строение» только тогда, когда человек РЕШАЕТ, КТО ОН.

Когда он говорит себе: я русский.

Или: я еврей.

В годы моего становления личность вообще строилась из других материалов (что ни на йоту не меняло принципа построения). То есть я мог сказать себе: «я — строитель коммунизма», или «я — наследник революции», «я — советский человек». Или: «ненавижу все советское» — абсолютно та же логика, начисто лишенная национального окраса.

Десяти лет от роду меня обозвали евреем.

С этого момента я им СТАЛ. Русским я тоже — СТАЛ. Когда почувствовал к себе презрение (сочувствие, сострадание, соболезнование) со стороны более «удачливых» соседей по глобусу. Я стал русским В ОТВЕТ на унижение русских. Это выбор, выбор души, смешанная кровь тут ни при чем.

Впрочем, кровь «помогает», в том смысле, что в любой момент ею можно «прикрыться». Есть два народа, о которых я могу говорить и писать все, что думаю: русские и евреи. Да и то попадаешь то в русофобы, то в антисемиты. Тут-то «кровь» и выручает: отвалите! Имею право! Про грузин, немцев и чукчей — не имею права (семь раз отмерю, пока выговорю), а про евреев и русских — сколько угодно, потому что «сам такой».

Глупо, конечно. Но в дурацкой ситуации быть Иваном-Дураком — спасение.

В любом случае — я ВЫБИРАЮ. Я РЕШАЮ: кто я. Я ВЕДУ СЕБЯ туда, куда решил, и так, как решил.

Тайна поведения — единственная разгадка «национального вопроса», включая и самые дикие «националистические предубеждения». Люди цепляются за внешность, за анкету, за «пятый пункт», потому что пытаются спрогнозировать или объяснить себе интуитивно чуемое: тип поведения.

При малейшем намеке на расчетливость говорят: «еврей». Совершенно неважно, кто он там на самом деле. С другой стороны, это может быть (как любит выражаться мой минский единомышленник Ким Хадеев) — питекантроп с надписью «Рабинович» на лбу, — но если этот Рабинович ведет себя как русский, и люди будут уверены, что он именно так поведет себя в любой предполагаемой ситуации, — они не заметят ни носа, ни акцента, ни надписи на лбу (или в паспорте).

Бывают отклонения?

О, бывают. Патологические отклонения. Вроде тех, что с такой силой описаны Фридрихом Горенштейном: когда у русского человека раскапывают еврейские корни. Но патология и есть патология, и ни к чему, кроме новой патологии, не приводит. Катастрофа евреев во Второй мировой войне по истокам трагедии — не катастрофа специфически «еврейская», а катастрофа общего безумия войны, павшая на евреев; цыгане оказались в такой западне; победи Гитлер — в ту же печь пошли бы и славяне. Но это — именно ситуация общей драки, свалки, тотального безумия. Это катастрофа общечеловеческая, и Бог попустил ее, наверное, не специально ради евреев.

А так, в относительно нормальной ситуации (и возвращаясь к России как стране «воинствующего антисемитизма») — побойтесь же Бога и не ищите расовой истерии там, где ее нет.

Кто знал, что Борис Пастернак еврей? Кто помянул ему ЭТО даже и в худшие времена травли? Ведь подумайте: момент был мутнейший, и много чего могли припаять, когда государство объявило Пастернака врагом. Да многое и было вызывающим в его поведении: «дачник» среди трудящихся, «небожитель» среди жильцов, наконец, «клеветник», напечатавшийся за границей, у классовых врагов. И все

это ставили в строку, и дикие люди «из народа» подхватывали: «я Пастернака́, конечно, не читал и читать не буду, но скажу...»

Так вот: всё, что́ можно, ему говорили, всё тыкали в глаза, кроме одного: что еврей. Потому что — при всем своем еврейском происхождении — он никогда НЕ ВЕЛ СЕБЯ как еврей. И даже дикие люди «из народа» это чувствовали. Он был человек абсолютно русский — по культуре, по образу мыслей, по типу поведения — это отлично понимали организаторы травли. Хватило же ума не нажимать на эту педаль.

Хватило же безумия у «организаторов» противоположного толка — называть Пастернака «ассимилятором». Ибо он сказал: не собирайтесь в кучу.

Да, сказал. И был по-своему прав.

Потому что у тех, кто хочет «собраться в кучу», с некоторых пор появилось место, где это можно сделать. Появление «своего государства» принципиально меняет ситуацию. Даже если реально она мало меняется. То есть если РЕАЛЬНО еврей в Израиль уехать не может (его не пускают), а уехавший не может там прижиться (но это уже «не наши» проблемы), — все-таки ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ выход как бы остается, и любой оппонент имеет право еврею этот выход указать: ты же можешь уехать! Астафьев — уж на что в угаре ненависти писал Эйдельману, но точно же суть уловил: *«для них — весь мир вроде, если им где плохо — переедут туда, где лучше, а нам, русским, некуда, нам где плохо, там и жить».*

Славно сказано. Я не про «хорошо» — «плохо»: в Израиле им, может быть, тоже плохо, но уже не потому, что они — евреи среди русских, а по другой причине.

Остается выяснить, что делать «евреям среди русских»: тем, кто не может уехать. Не может — по душевному состоянию, по принадлежности и приверженности к русской культуре, по ощущению «русской судьбы», одним словом — по ЛИЧНОСТНОМУ РЕШЕНИЮ.

Им что делать?

Далее — цитирую Юрия Карабчиевского, который шесть лет назад в статье, посвященной четырехлетней годовщине переписки Эйдельмана с Астафьевым, попытался ответить на этот вопрос:

«Что делать? Не знаю. Знает лишь тот, кто точно знает, что надо уехать. Таким остается только завидовать. Их позиция всегда хорошо обоснована, и для них вопрос на сегодня снят. А еще знает тот, кто думает, будто знает. Кто уверен, что можно жить себе и жить, не обращая внимания, нормальной жизнью русского интеллигента, ну, там, еврея по происхождению, мало ли какие у кого были предки, здесь, в России, ни с кем и не разберешься толком, у кого татары, у кого буряты, у кого немцы, у кого евреи... Жить и жить, никогда, ни в какой ситуации, ни даже наедине с самим собой

не чувствуя, не признавая себя евреем. А если в автобусе или в очереди... Ответить: — Да сам ты — какой ты русский? Научись сперва говорить грамотно! — Ну, и что-нибудь там еще остроумное, так, чтобы все тут же и померли со смеху. А если окружающие тебя не поддержат, и придется тебе помирать в одиночестве — выйти и пересесть в другой автобус, не на этом же свет клином сошелся. А когда это будет ВО ВСЕХ *автобусах, или хотя бы в каждом третьем... Да не будет этого, не может быть!*

Может! Вспомним, уже бывало в сороковые — пятидесятые. А сейчас-то зла накопилось поболе. Будет так: автобус, два активных подонка, пять пассивных подонков, двадцать пять любопытствующих и еще пять — нормальных людей, которые содрогнутся, но не решатся...».

Насчет того, «может» или «не может» повториться 1952 год, спорить не буду. Все «может»! Тут и угадывать нечего. А вот как вести себя сейчас, вот в эту секунду, — об этом можно поспорить с Ю.Карабчиевским.

Да, это точно мой принцип: жить, не обращая внимания. Жить нормальной жизнью русского интеллигента. Вести себя так, как должен себя вести человек русской культуры. Не говорить антисемиту, что он антисемит. Не соглашаться с ним, когда он сам называет себя так, не верить в это даже тогда, когда это реальность. Потому что кроме реальности эмпирической есть реальность духовная. Не называй дурака дураком, потому что в его глазах ты сам — дурак.

И опять вечное возражение: а погром?

А в погром защищается человек прежде всего — как ЧЕЛОВЕК, и уж только потом — как носитель ярлыка, который ему по случаю погрома клеют. Ярлыки не вечны. «Не собирайтесь в кучу». Будьте русскими...

...Так ведь не дадут! — в отчаянии отвечает Юрий Карабчиевский. — Нет выхода! Ни там, в Израиле, нет жизни, потому что ТАМ — ты «русский», ни тут, в России, потому что ТУТ ты — непременно «еврей».

Исаак Милькин на этот же вопрос в этой же ситуации отвечает иначе:

— Есть выход! Остаться ТУТ, но не делать вид, что ты русский (как и ТАМ — невозможно сделать вид, что ты НЕ русский). Остаться тут и быть особым народом — «русскими евреями».

Так они стыкуются в какой-то запредельной точке алогического пространства: отчаявшийся Карабчиевский и несдающийся Милькин:

«Прежний стыдливо-уравнительный довод, что евреи — такие же русские, уже не работает. Всем уже ясно, что — не такие же...»

Так. Это и есть крайний пункт, до которого можно пятиться, реагируя на доводы. Здесь доводам конец. Еврей не может перестать быть евреем. Не потому. что другие препятствуют ассимиляции. САМ не может. Даже когда искренне хочет перестать быть евреем. Все равно не может.

Опасность этого решения на эмпирическом уровне самоочевидна. Ну как ты станешь «особым народом», не имея ни клочка земли, ни материального подкрепления своей среди «прочих русских» особости? Ни Биробиджан, ни Крым тут не вдохновляют: «русским евреям» как особому народу собраться «в кучу» негде. То есть никакой перспективы полноценного национального бытия не просматривается. Только «самосознание». И подкрепится оно — чем же? Профессиональными склонностями? Вроде того, что в Москве «все дворники — татары». Что-то вроде имиджа ассирийцев? Или цыган? Только с поправкой, что те «дворы метут», «ботинки чистят» и «по руке гадают», а эти — «в журналах пишут», и потому они среди прочих русских — особенные?

Вы понимаете, какую бомбу под себя подводите?

Лучше высовываться в этом качестве.

Десять лет либеральной Перестройки; погромов не было и нет; евреи в моде; а все-таки висит в воздухе тревога; и бабочки по-прежнему летят на огонь.

Расклеена по городу афиша, и такая же, в миниатюре, сунута в почтовый ящик:

«ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕССИАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ... Приходите послушать всемирно известных певцов и музыкантов из Европы, США, Израиля. Вы услышите традиционные еврейские и израильские песни. Вы услышите вдохновенное сообщение о надежде и любви от Мессианского раввина Джонатана Берниса... Приходите, и вы откроете для себя истину!.. Вера в Бога и его сына Иешуа может изменить вашу жизнь».

Ох, что-то тревожно мне, я не против — послушать всемирно известных певцов. Я только боюсь, когда вот так обещают открыть истину. Боюсь встречной реакции тех, кого хотят облагодетельствовать. На каком-то афишном столбе я уже видел доброе лицо раввина Джонатана Берниса со звездой Давида, нарисованной у него на лбу чьей-то глумливой рукой. Резануло меня — нет, не фактом хулиганства, этим на Святой Руси не удивишь — а тем, как скоро сбывается смутное предчувствие. Ой, будьте осторожны, «мессианские евреи, верящие, что Иисус является еврейским Мессией». Ой, не высовывайтесь так неосмотрительно. Ой, не собирайтесь в кучу.

Я понимаю: в моей «крови» пульсирует тысячелетний страх, не подавленный за два русских века еврейской истории.

И он не будет подавлен, не может быть подавлен. Потому что еврей (человек, сказавший себе: я еврей) не умеет перестать быть евреем. Может быть, это рок над ним, одна из загадок мировой истории, сфинксово вопрошание.

Поэтому он уходит, не отвечает сфинксу, уносит ответ. Он уходит в свою пустыню, в свою сумасшедшую древность, уходит обратно «за реку», из-за которой явился когда-то с праотцем Авраамом.

А остающиеся дальние потомки его, смешавшиеся со «здешними народами», постепенно забывают о том, каким ветром занесло сюда, в «северные болота», непонятные живучие пустынные гены, и только изредка, все реже и все необъяснимее, будут вспыхивать и дотлевать в прапамяти отзвуки странной тревоги.

Уходящие уходят.

Остающиеся остаются.

Двухсотлетний эпизод «еврейского участия» в русской истории завершается.

Это ничего. Завершился же и двухсотлетний татарский. И двухсотлетний европейский, с Петербургом связанный. Теперь иссякает еврейский.

Чем будет помянут?

Что останется в русской душе от контакта с этими странными людьми: вроде бы и «южными» по темпераменту, да как-то «примороженными», вроде бы живучими, быстрыми, контактными, но хрупкими, да и «закрытыми» наглухо в своей глубине. Что все это значит в Книге Мировой Истории? Зачем они тут были, зачем страдали, зачем во все вникали и влезали?

Во все вникли, во все влезли, во всем поучаствовали, были и главными палачами, и главными жертвами, и вроде бы безоглядно пребывали ЗДЕСЬ, — а все-таки хранили, таили какую-то нездешнюю, запредельную, древнюю, вечную думу... с которой и ушли отсюда туда, откуда пришли и куда другим пути нет.

Вот это и останется — неверный, загадочный след. Как от «пришельцев».



Перец МАРКИШ (1895-1952)

***

Какой сегодня день! Какой огромный!..
И брызжет песня из клубка тугого.
И звонок день, и даль ясна.
Коснулась губ моих весна.

Я только-только вышел из ковчега!
Мне снится мир —
Дитя,
С большущими печальными глазами,
С коленями открытыми...

Во мне поет заря большого утра.

1919

Пер. *Давида Маркиша*

ЗАКАТ

Мерцает грустно камень Галилеи.
Далеких гор тосклив и синь узор.
На этих долах бледный, как лилея,
Ягненком пасся странный фантазер.

Стоит закат в оранжевом пыланье.
Стоит вверху простоволосый серп.
Кто там несет овечку на закланье,
Босой и обреченный на ущерб?

Весь Кинарет сияньем опоясан,
И плат пространств все шире и серей.
Спустилась ночь. Мне все-таки неясно,
Зачем вознесся в небо Назарей?

Наймусь поденно чабаном к верблюду,
Кочевником пройду, как бедуин.
Семь лучших жен и нож кривой добуду
И пальму выращу для их долин.

Пристану ли к певучим караванам,
Спрошу у них, где отыскать мне путь...
— Спи, голова Синая! Я незваным
Пришел к тебе. Не слушай и забудь.

И черный брат в лицо мне смотрит дико
И отвечает: «Я здесь, как и ты,
Чабан наемный, гость, а не владыка,
Поденщик этой ветхой нищеты».

Галилея, *1923*

Пер. *Павла Антокольского*

ГАЛИЛЕЯ

С террас по вязи троп, скользящих в дол,
как змеи,
Полдневный съехал жар — бездомный — нелюдим
К божбе арабских толп, к торгам недорогим,
Где ссорятся купцы и шутят брадобреи.

Не призраки ль веков здесь вытянули шеи?
Где явь и где мираж? Как путь мы проследим?
Вот ветры жаждут сна... вот Иерусалим
Их гонит на Софат, под кущи Галилеи...

Ведом я грустью был, — будь, зной, поводырем!
Мы, пешие, с тобой библейский глинозем
Узнаем в зелени, как лицедея в гриме!

А ослик, брат тоски, а бедуинский мул,
А преданный верблюд, что сам к мечте свернул —
Им тоже в Граде быть, быть в Иерусалиме!

Иерусалим, *1923*

Пер. *Давида Бродского*

ИЕРУСАЛИМ

Прочесанный верблюжьими ступнями,
Ты гол, всхолмленный Иерусалим, —
Здесь древних эпитафий повестями
Зачитываться призван пилигрим.

Пока ты солнцем яростным палим,
Печать веков почиет под камнями.
Боготорговлю здесь при каждой яме
Вел хитроумно крестоносный Рим.

Апостол Фитий, днесь, — ему на смену
Торгует кровью нищеты священной
И в бурдюки вливает рабский труд,

Будь папе он слугой или аллаху.
А рядом молит подневольный люд —
Над Мертвым морем буре дать размаху.

***1923.* Палестина**

Пер. *Осипа Колычева*

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

За субботним столом, словно царь, восседает хозяин,
И двенадцать сынов — как двенадцать библейских колен.
«Я, как раб ханаанский, пахал и снимал урожаи,
Как еврей и отец, делал все, что нам бог повелел.

Вот такой, какой есть, все на свете я делать умею:
И доить, и ковать, и уладить базарный скандал.
Я трудился и ездил; я видел, поверьте еврею,
И Париж, и Нью-Йорк, и в Одессе я тоже бывал».

В хрен макает он белую халу, сопит и чихает,
И, размазавши слезы, которых не может унять,
Говорит: «Хрен в субботу — ведь это же радость какая,
Все равно что страничку Талмуда прочесть и понять.

А мои сыновья? Я всегда их воспитывал честно,
И прошу я вас, пан, объясните, пожалуйста, мне:
Я приучен к любому труду, так найдется ли место
Для такого, как я, в вашей новой советской стране?»

1924.
Польша

Пер. *Романа Сефа*

***

За днями дни, как корабли, свой путь
Прокладывают твердо в море чуда.
Я не пришел спросить: «Куда? Откуда?»
Пришел, чтоб с ними плыть и утонуть.

За днями дни... И вот уж слышен зов
Береговой — он нежен и печален...
Я в гавань не войду, я не причалю —
Сломал мне ветер крылья парусов.

За днями дни
Прокладывают
Путь...

Пришел я к ним,
Чтоб плыть,
А не тонуть.

1923

Пер. *Давида Маркиша*

Эстер МАРКИШ

ПЕРЕЦ МАРКИШ

Еврейский местечковый парень Моисей Равич-Черкасский, бывший чекист с Украины, не избежавший общей участи — его арестовали в 1934 году, как «носителя преступных троцкистских идей», в 1928 году занял по приказу высших властей ответственную и почетную должность заведующего отделом национальных литератур одного из крупнейших издательств страны — Государственного издательства художественной литературы в Москве. Человек умный и не без образования, он общался с писателями, был в курсе их литературных дел и — по старой привычке — жизненных обстоятельств. Он и в Москве оставался евреем, любил говорить на идиш, любил еврейские песни, вздыхал над воспоминаниями детства. Вспоминал, молчаливо покачи-

Редакция благодарит Эстер Маркиш за любезное разрешение опубликовать главу из ее воспоминаний «Столь долгое возвращенние» (Издание автора. Тель-Авив. 1989.).

вая головой, традиционные субботние трапезы в Черкасске, откуда он был родом. Вспоминал трепещущие, легкие от старости руки своей бабки над субботними свечами...

Одним из домов, где Равич-Черкасский обращался к своему еврейскому прошлому, был дом Иосифа Авратинера — московского еврея с грустными глазами и доброй душой. Иосиф не работал в ЧК и не кончал потом Институт Красной Профессуры, как его частый гость. Он был простым советским служащим, он любил грустные песни галута, он любил и знал горько-соленую, солнечную, взрывоопасную литературу своего народа — Шолом-Алейхема, Менделе, Ицхака-Лейбуша Переца, Переца Маркиша.

Иосиф Авратинер был другом моих родителей, и я часто забегала в их московскую квартиру на Садовом кольце как к себе домой. Там я несколько раз встречала и Равича-Черкасского, ведшего с хозяином ученые споры о еврейской литературе. Мне было тогда шестнадцать лет, я ни слова не знала на идиш, и голова моя была полна звоном советских лозунгов о всеобщем счастье и неизбежности мировой революции.

— Есть интересная новость, — сказал как-то Равич-Черкасский — это было весной 1929 года. — Перец Маркиш вернулся из эмиграции. Он, наверно, уже в Москве. Московским девчонкам, — тут Равич-Черкасский шутливо взглянул на меня, — нужно занять осадное положение: Маркиш красив как Бог.

— Он, наверно, ходит в шляпе? — с вызовом спросила я. По понятиям советской молодежи конца двадцатых годов, носить шляпу равносильно было принадлежности к буржуям, нэпманам. Мой отец, нефтяной буржуй и «красный купец» в период НЭПа, в 28 году не мог себе позволить ходить в шляпе. А если б он ее и надел, я первая, наверно, осудила бы его с фанерных, выкрашенных «под металл» комсомольских позиций.

— Наверняка в шляпе, — подтвердил Равич-Черкасский. — И кашне, говорят, перебрасывает через плечо. Он объездил полмира, был даже в Палестине.

— Какой еврей не хочет поехать в Палестину? — спросил Иосиф Авратинер. — Вы видели такого еврея? Я — нет!

Равич-Черкасский промолчал под вопрошающим взглядом хозяина. Он, надо думать, был согласен с Иосифом Авратинером.

Я забыла об этом разговоре, чтобы вспомнить о нем несколькими днями спустя. Проходя по Садовому кольцу, я по привычке заглянула к Авратинерам. Дверь мне открыл мужчина лет тридцати с небольшим. Он был красив необычайной, ослепительной красотой, и я уставилась на него во все глаза. Мягкий, пастельный овал его лица венчала шапка темных волос, небрежными локонами падавшими на лоб. В полумраке передней его глаза в глубоких впадинах мерцали, как

синие камни. И одет он был красиво — не так, как одевались в ту пору в России, переживавшей очередные «временные трудности».

— Знакомься! — сказал мне Авратинер, появляясь в передней вслед за человеком, открывшим мне дверь. — Перец Маркиш!.. Да проходи ты, наконец, в комнату — в соляной столп ты, что ли, обратилась?

Маркиш говорил с Авратинером на идиш, и я, сидя за столом, горько сожалела, что не знаю ни слова на этом языке. Несколько раз Маркиш, взглянув на меня и вспомнив, что я ничего не понимаю, переходил на русский — но тут же, энергично жестикулируя, словно бы забывая о моем присутствии, снова возвращался к идиш. Мне это было немного обидно, я злилась и на себя, и на папу с мамой, не научивших меня родному языку, и на Маркиша с Авратинером. Вскоре я собралась уходить.

Маркиш вышел проводить меня в переднюю.

— У тебя есть телефон? — спросил Маркиш.

— Найдете, если захотите! — сказала я.

— Я же не спросил номер, — усмехнулся Маркиш — Я спросил — есть ли телефон.

Я шла домой, чуть не плача от собственной глупости: надо было оставить ему номер моего телефона! Как же, будет он теперь искать телефон какой-то девчонки...

— Я познакомилась с еврейским писателем, — доложила я отцу, вернувшись домой. — С Перецом.

— Тебе здорово повезло, — усмехнулся отец. — Ицхак-Лейбуш Перец умер до твоего появления на свет.

— Как это умер! — возмутилась я. — Он только что вернулся из-за границы.

— Так это, наверно, Перец Маркиш! — предположил отец.

— Да-да, — подхватила я. — Конечно, Перец Маркиш! Он у меня даже телефон взял...

Отец помрачнел несколько — он, видно, слышал о «похождениях» Переца Маркиша, многие из которых, кстати сказать, приписывались ему щедрой на этот счет молвой.

Назавтра я, сказавшись больной, целый день просидела у телефона. Звонили мальчики, девочки, приятели родителей — только не тот, чьего звонка я так ждала. Я была в полном отчаянии, когда, наконец, позвонил он.

— Да будут все боги к тебе благосклонны! — сказал Маркиш.

— Если один из этих богов — вы, то у меня все будет в порядке, — сказала я.

— Авратинер зовет поехать за город, — сказал Маркиш. — Поедешь со мной?

— Поеду, — сказала я.

Моя семья была встревожена не на шутку: о красавце Маркише ходили слухи, что в каждом городе у него есть жена и ребенок. Женщины говорили об этом с замираньем, мужчины — с завистью, Маркиш только усмехался, когда эти слухи доходили до него самого. «Пока тебе завидуют — ты на коне, — говорил Маркиш. — Когда тебя начнут жалеть — тебе конец». Эту поговорку я потом слышала от Маркиша много раз — когда его многочисленные враги говорили о нем, что он вызывающе красив, вызывающе талантлив, вызывающе много пишет, вызывающе богат. Посредственность не терпит чьего-либо превосходства над собой. Посредственность мирится с себе подобными, да и то без охоты. Литературные враги Маркиша были бы счастливы, если бы он реагировал на их возню вокруг его творчества и его жизни — но он не обращал на них никакого внимания, и это бесило их еще больше.

Вскоре после нашего знакомства Маркиш случайно узнал из разговора со мной, что наша семья жила в 18-м году в Екатеринославе, на улице Широкой.

Узнав об этом, Маркиш посмотрел на меня пронзительно и остро, словно бы видел меня в первый раз.

— Ты жила в восемнадцатом на Широкой, около вокзала? — спросил он. — Ты ничего не путаешь?

— Нет, — сказала я. — Это точно... Но что тут удивительного?

Маркиш захохотал, рассмеялся до слез в глазах. Я смотрела на него почти с испугом — ведь только что он был совершенно спокоен. Он был очень динамичен, воспламеняем, взрывчат — это я уже успела заметить к тому времени. Но сейчас ведь, кажется, не было никакого повода к столь резкой перемене настроения.

— Это чудо, — сказал Маркиш, вдруг посерьезнев. — Можно сказать — совпадение, но совпадение — это и есть чудо. Все зависит от того, какими глазами смотреть... В восемнадцатом году я с Авратинером, Мишей Светловым и Мишей Голодным входил в состав отряда еврейской самообороны на Широкой улице в Екатеринославе. Ну, что ты теперь скажешь? Знал бы я, что ты живешь на Широкой — никогда бы не стал ее оборонять... — пошутил он.

Действительно, чудо, если смотреть глазами поэта, а не архивариуса: мы познакомились в доме Авратинера, а те двое других еврейских ребят-самооборонцев стали известнейшими русскими поэтами — Михаилом Светловым и Михаилом Голодным.

В отряде еврейской самообороны Маркиш занимал значительное место и пользовался уважением товарищей: он успел пройти школу первой мировой войны, получил боевой опыт, был ранен, а однажды в одной из газет было опубликовано сообщение в черной траурной рамке. Оно гласило, что солдат Перец Маркиш пал смертью героя на поле брани во славу русского оружия. Так что умение владеть оружием помогало Маркишу в борьбе с погромщиками всех мастей и по-

литических оттенков: белых, красных, зеленых. И я, возможно, уцелела в пожаре русской революции оттого, что отряд Маркиша патрулировал ту улицу, на которой я жила. Чудо ли это или совпадение — как кому нравится...

Через год после знакомства Маркиш предложил мне стать его женой, и я согласилась с радостью.

— Так вот, — сказал Маркиш. — Прежде, чем мы станем с тобой мужем и женой, я открою тебе один секрет — а дальше ты решай сама.

— Да... — сказала я, леденея от ужаса — ведь что-то могло помешать нашему счастью.

— Я никогда не был женат ни на ком, — сказал Маркиш, — но у меня есть маленький ребенок, дочка. Ты немного подрастешь, поймешь, как это все происходит в жизни. А пока ты просто должна знать. Ну?

— Хорошо, — сказала я. — Тогда я тоже вам открою один секрет.

— Что за секрет? — в смятении воскликнул Маркиш. — Не может этого быть!

— У меня — другое, — сказала я. — Но я вас обманула, когда мы познакомились. Я сказала вам, что мне семнадцать лет.

— Ну? — нетерпеливо сказал Маркиш. — И что же?

— Мне тогда еще не было семнадцати, — призналась я. — Так что семнадцать мне только теперь.

Маркиш рассмеялся.

— Ты меня не на шутку напугала своим секретом, — сказал он. — Я думал, что тебе вообще пятнадцать.

Назавтра он пришел к моим родителям, с которыми уже не раз встречался.

— Вера Марковна, — сказал он моей матери, — найдется у вас каокй-нибудь чемоданчик, только поменьше?

— Зачем вам чемоданчик? — спросила моя мать. — Вы что, уезжаете?

— Мы вместе уезжаем, — сказал Маркиш, кивнув в мою сторону. — Я решил забрать у вас вашу дочку. А маленький чемоданчик — чтоб ей легче было носить.

— Так вы возьмите извозчика! — сказала мама. Она сильно тогда беспокоилась о моей судьбе.

В тот же вечер мы уехали с Маркишем в Харьков.

Жак СИСАЯН (Париж)

НАРОД... БЕЗ МОРЯКОВ?

«Я мечтаю увидеть однажды, как в Марсельскую гавань войдет армянский корабль» — такими словами Жак де Морган заканчивает свою статью, посвященную армянам (Revue de Paris, 1916, vol. III). Пророческое видение? Шутка?

Как бы то ни было, но нескольких авторов серьезно занимал вопрос: существоал ли армянский флот. Достоверные источники разрознены и немногочисленны, гораздо больше предположений_ и намеков — даже в работах тех историков, кто изучал армянское Киликийское царство (1080-1375), омывавшееся на юге Средиземным морем.

Историческая Армения — страна гор, она сформировала этнос, населивший эту землю, приспособившийся к окружающим условиям и ставший народом пахарей, виноградарей, пастухов, ремесленников. Однако в V в. до н.э. Геродот в своей «Истории» упоминает: «Корабли из этой страны (Вавилонии), которые спускаются по течению реки (Ефрат), чтобы следовать в Вавилон, имеют кругообразную форму и делаются из кожи. Их производят в областях Армении, которые находятся в верховьях Ассирии; делают их из веток ивы, а снаружи к ним, как настилают пол, прикрепляют обшивку из шкур; ...корабль управляется с помощью двух лопатообразных весел двумя стоящими людьми. ...На самых больших кораблях имеется множество ослов... прибывая в Вавилон и разместив свой груз, эти люди продают с торгов остов корабля и всю солому, затем нагружают ослов шкурами и возвращаются в Армению».

После царствования Тиграна Великого (95-55 гг. до н.э.) в стране наступает упадок. Историк Мовсес Хоренаци сетует: «Не было навигации по нашим озерам, ни плавания по рекам, ни рыбной ловли». Но при царе Арташесе III (18-33 гг.) ситуация меняется. «Он укрепил столицу Арташат; по его повелению множество портов и множество кораблей были построены для торговли». Историк Товма Арцруни сообщает так же, что храм и царский дворец на о. Ахтамар были воздвигнуты из материалов, доставленных на кораблях по оз. Ван.

Эти факты, немногочисленные, порой весьма туманные, все же дают право утверждать, что когда политические и экономические условия позволяли, армяне осуществляли навигацию по рекам. Во время массовой эмиграции, начавшейся в годы завоевания Армении турками-сельджуками (XI в.), и с образованием армянского государства в Киликии армяне получили доступ к морю. Эта эпоха стала золотой страницей в многовековой истории армянской торговли, которая осуществлялась в соревновании с генуэзцами и венецианцами, а также пизанцами, французами, каталонцами. Было построено немало портов, таких как Айяс, Адана, Корикос, Тарс, Мамистия и др. Наиболее распространенным типом корабля становится *галия* (арм. *кале*); как правило,

основное время плавания приходилось на благоприятное для навигации время — после Пасхи и в августе — сентябре.

Источники того времени свидетельствуют, что судоходство было четко регламентировано: имелись тарифы на доставку людей и грузов, примеры найма экипажа, выборы капитанов, минимального числа (25 матросов) команды. Неизвестно только, строили ли в тот период корабли сами армяне? Можно предположить, что они пользовались верфями Венеции, где король Леон III продал корабль и где представитель короля Ошина в 1314 г. набрал 560 гребцов, которых послал в Киликию.

Если богатство Киликийского царства зиждилось на торговле, то необходимость защиты своих вод требовала создания военного флота. Марко Поло в своих путевых записках упоминает, что в 1271 году король Леон II вооружил корабль, который должен был доставить его братьев Николо и Матео в Акру по просьбе папы Григория X. В 1323 году арабский автор Ибн Ал-Варди, описывая осаду порта Аяс египтянами, сообщает о трех военных кораблях под названием «Атлас», «Шама» и «Аяс».

Важность этого флота трудно переоценить. А историк Киракос Гандзакеци пишет о «множестве кораблей», описывая морское сражение, завязавшееся при возвращении армянского короля Леона II во время его плавания с о. Кипр в Киликию.

Падение Киликийского королевства в 1375 году означало конец армянского мореходства, далее армяне упоминаются лишь как капитаны кораблей (Черное море, итальянские воды), судостроители — например, в Венеции, где кроме рабочих-армян, упоминается мастер Антон, его сын и внуки, составившие целую династию искусных кораблей, целый век работавшую на Венецианской верфи.

Более поздние источники подтверждают, что деятельность армян, связанная с мореплаванием, не прекращается: в XVII в. два армянских торговых корабля под голландским флагом ведут торговлю между Смирной и Амстердамом; в 1704 г. патриарх антиохийский Шарль де Турнон, посланный папой Климентом XI, отплывает из Пондишери (юго-восточное побережье Индии) в Китай на армянском корабле; в царствование Екатерины II строительство кораблей и командование ими на Каспийском море находится в руках армян; в XIX в. в Калькутте существовала армянская торговая компания «Абгар», владевшая четырьмя кораблями.

Таким образом, даже из этих нескольких примеров видно, что хотя Армения никогда не была морской державой, армянские мореходы смогли приспособиться к условиям, навязанным им природой и историей, и бороздить моря — то под своим флагом, как во времена Киликийского королества, то под флагами других стран и торговых компаний. Мы так же не знаем ничего о существовании армянского парохода, кроме того, что в 1919 г. на озере Севан появился первый ароход под красно-голубо-оранжевым флагом независимой Республики Армения.

Пер. с франц. *Инессы Миронер*

Cahiers Arméniens. Paris. 1987, № 2

Борис ХАЗАНОВ

СТАРИКИ

Громкие голоса сотрясают пузырь молчания, которым окружен старик, бредущий по городу. Словно глухонемой, он поглядывает на встречных.Люди смеются, бранятся, жестикулируют, люди слишком много разговаривают. Это потому, что они молоды и не знают, что все слова давно уже сказаны. Мир молодеет. Мир становится похожим на среднюю школу, на детский сад. Молодеют герои кино и книг. Старик перечитывает классические романы — у него много времени, — и оказывается, что их написали совсем молодые люди. Раньше он этого не замечал. Когда-то герои книг казались взрослыми и умудренными жизнью, но на самом же деле это зеленые юнцы. Раньше это не бросалось в глаза. Старик не становится старше: старение — тоже позади. Зато мир становится все моложе и все глупей.

Ему вспоминаются те, кто жил сорок или тридцать лет назад, старики его молодости. Безнадежные люди, смертники, как ему казалось. Тогда как сам он был бессмертен. Профессор классической филологии в шубе и шапке, с палкой, с книгами на коленях, сидевший в выстуженном коридоре, дожидаясь начала своей лекции. Теперь можно было бы запросто подойти к нему и присесть рядом. Продекламировать вдвоем: Eheu fugaces, Postume, labuntur anni...*

Родители: их давно нет в живых. Дико и странно подумать, что теперь ты вдвое старше своей матери, она сама годилась бы тебе в дочки.

*

Тридцать лет назад перед подъездом центральной районной больницы стоял автомобиль с красными крестами на стеклах, видавшая виды колымага военных времен. В этот день в райздравотделе происходило совещание местной медицины. Кто-то из городских коллег подошел и сказал: «Тут у нас есть пациент с вашего участка, вам все равно по пути. Заберите его с собой».

Была осень. От города до сельской участковой больницы пятьдесят верст по ухабистой мощеной дороге и три километра по проселочной. Можно было еще успеть выехать засветло. Я расхаживал вни-

---

* Увы, летучие, Постум, проходят годы *(Гораций)*.

зу перед лестницей. Очевидно, больной одевался. Наконец, раздались шаги. На лестничной площадке показалась молоденькая сестра, она вела под руку пациента. Это был дряхлый старец, облаченный в какое-то рубище.

Стали сходить по лестнице. Старик вцепился в провожатую. На каждой ступеньке он останавливался, набираясь отваги для следующего шага.

«Куда ж я теперь с ним?»

«Вот тут все документы», — сказала сестра.

«Где его вещи?»

«А у него нет никаких вещей».

Я развернул бумаги. Больной жил в дальней деревне, в стороне от тракта, куда и летом добраться непросто. Был доставлен в городскую больницу четыре месяца тому назад. Диагноз... Дальше шло длинное, похожее на аристократический титул перечисление недугов, которое можно было заменить одним словом: старость.

«Дедуль!»

«Ась?»

«У тебя из родных кто-нибудь есть?»

«Ась?»

Все было ясно. Беспомощный беспризорный старик-одуванчик, кочующий по больнице в ожидании смерти: дунет ветер — и нет. Без жены, без детей, без внуков, в избе-развалюхе, ни дров наколоть, ни воды принести. Числится колхозником, стало быть, и пенсии никакой.

«Ничего, — сказала сестричка и погладила деда по желтому черепу, — он у нас молодцом. Он у нас еще ходит. Перезимует у вас, а летом сам домой запросится».

*

Месяца через два выяснилось, что у деда есть дети. Дочь живет в Москве. Сын в Ленинграде. Сбежали из тухлой деревни в город, бросили старого инвалида на произвол судьбы. Вот мы теперь вам о нем и напомним! Я сидел в амбулатории, в комнатке за дверью, на которой красовалась табличка «Главврач», и злорадно потирал руки. Затем умокнул перо в чернильницу и начертал два грозных письма.

Ответ, как ни странно, не заставил себя долго ждать. Два ответа.

Сын прислал длинное, вежливое и уклончивое письмо. Он благодарил за заботу о старике, обещал непременно проведать его в будущем году. Он совершенно согласен, что в деревне о больном некому позаботиться. Нужно что-то предпринять, как-нибудь решить эту проблему, так как взять отца к себе он, к сожалению, в настоящий момент не имеет возможности. Он работает милиционером, зарплата сами знаете какая, ютятся с женой и двумя детьми в пятнадцатиметровой

комнате. Единственный выход — подержать старика еще в больнице. Не могли бы врачи похлопотать о доме престарелых?

Письмо от дочери было лаконичным. О себе она ничего не сообщала и не просила отсрочки. «Вы хотите, чтобы мы забрали к себе отца, — писала она, — ну так вот, этого никогда не будет. Жалуйтесь куда хотите, а мы его не возьмем. Какой он нам отец? Он нас бросил маленьких с матерью и знать о нас ничего не хотел всю жизнь. А теперь вспомнил. Никакой он нам не отец. Так ему и передайте».

Можно было ответить ей, что дед вообще уже ничего не помнит. После этого прошло еще сколько-то времени. В конце апреля в наших краях наступает весна. Вдруг в одну ночь все начинает таять, голые леса сатоят по колено в воде. Вода, куда ни ступишь, хлюпает под ногами, и мокрый взъерошенный скворец за окошком заливается как безумный. Потом земля, по народному выражению, расступается. Теплый пар плывет над лугами, просыхают лужи. Сестра оказалась права: когда начало припекать солнце, дед стал просить выписать его из больницы. И тяжелый рыдван с красными крестами, прыгая на ухабах, повез его за двадцать верст в родную деревню...

*

Каждый день рано утром я садился в трамвай возле выставки достижений сельского хозяйства, теперь уже дело происходило в столице, и каждый раз, тремя остановками позже, в вагон входил и садился напротив высокий благообразный старик в железных очках, с длинной желто-белой бородой, с узелком в руках. Клиника находилась в новом районе. Я сходил, и следом за мной сходил старик.

Я раздевался в гардеробе для персонала. Старик снимал ветхое пальто в раздевалке для посетителей. Я взбегал по лестнице на второй этаж. Старик ехал в лифте. Мы входили в отделение, он направлялся в палату, а я отворял дверь в ординаторскую, где ждали меня подчиненные.

Раз в неделю происходил обход заведующего отделением. Церемония состояла в том, что я шествовал по коридору от одной двери к другой, три врача, держа папки с историями болезни,следовали за мной, в палатах стояли наготове сестры, а с кроватей на нас смотрели очаговые пневмонии, язвы двенадцатиперстной кишки, ревматические пороки сердца и различные степени недостаточности кровообращения, принявшие облик живых людей.

В конце коридора, в последней женской палате, возле койки у окна сидел старик, на тумбочке стояла тарелка с недоеденной кашей и букетик цветов в бутылке из-под кефира. А на койке, под двумя одеялами, лежало крошечное сморщенное существо с птичьим лицом, с

лысой головкой, в перевязанных ниткой железных очках, таких же, как у старика. Это была его мать.

«Поздравляю!» — сказал я фальшивым голосом. Очки повернулись в мою сторону, но понять, слышит ли меня больная, было невозможно. В этот день ей исполнилось сто лет.

Я попросил старика заглянуть ко мне попозже, и процессия двинулась в обратный путь.

После обеда он вошел в кабинет.

«Ага. Присаживайтесь. Ну-с... как вы находите маму?»

Он пожал плечами.

«Мы считаем, что налицо определенный прогресс, — сказал я, употребляя первое лицо множественного числа, которое в грамматике именуется pluralis majestatis, а в России употребляется, когда хотят сложить с себя ответственность за предстоящее. — Не правда ли?» — спросил я у палатного врача.

«Безусловно».

«Ну вот и прекрасно. Видите ли, какое дело... Мы хотели с вами поговорить».

«О чем?» — спросил старик.

«Ваша мама находится у нас уже четыре месяца».

«Три с половиной».

«Не будем спорить. За это время достигнут определенный прогресс. Вот мы и подумали, что, может быть, уже пора выписываться. Как вы считаете?»

Практика выработала у родственников сложные приемы самозащиты. Во всем соглашаться с врачами. Долго и трогательно благодарить за работу. Нигде, ни в одной больнице не было такого внимательного ухода, такого квалифицированного лечения. Конечно, мы обязательно возьмем маму, тетю, бабушку. Но не сейчас. Нельзя ли продлить лечение хотя бы еще на недельку? Так сказать, закрепить результаты. — Но позвольте. Больная не нуждается в лечении, только в уходе. — Значит, нам нужно кого-то подыскать. — Вот и ищите. Сами видите, отделение переполнено, больные лежат в коридоре. Настоящие больные. — А разве мама не настоящая больная? — Помилуйте, четыре месяца! — Три с половиной. — Ладно, не будем спорить. Итак?.. — Что итак? После чего разговор начинается сызнова.

Вместо всего этого старик сказал:

«Я ее не возьму».

«Как это, не возьму?»

«А вот так».

«Но вы же прекрасно понимаете, что...»

«Прекрасно понимаю».

«Но ведь она же вам мать! Вы что же, от нее отказываетесь? Тогда устраивайте ее в дом престарелых».

«Куда?» — спросил он.

«В дом престарелых».

Некоторое время мы изучали друг друга.

«Мне восемьдесят два года, — сказал он. — Тем не менее я слышу достаточно хорошо. Поэтому повышать голос нет надобности. Если бы я хотел отказаться от мамы, вы бы меня здесь больше не видели. Ваши сестры и няньки давно уже к ней не подходят... Я сам все делаю. Стираю белье, привожу каждый день чистое, перестилаю кровать, кормлю. И буду так делать и дальше... Но взять ее домой — нет. Что я буду с ней делать? У меня никого больше нет. Мы там с ней помрем. А что касается дома престарелых... Вы, я думаю, хорошо знаете, что попасть туда невозможно. Обивать пороги учреждений я не в состоянии. Но даже если бы это и было возможно... Все что угодно, но только не дом престарелых. Можете на меня жаловаться куда хотите».

*

Старость — это искусство делать вид, что смерти не существует. В юности время работает на нас. Старик знает: время работает против него. Что бы ни случилось, при любой погоде и любом правительстве — время работает против него. Он, как путешественник в шатком и тряском экипаже, лошади несут его к обрыву, но остановить карету невозможно, и выпрыгнуть невозможно. И он смотрит по сторонам, любуется ландшафтом.

Мы должны перевести стрелки назад, когда славное изречение о том, что мудрость свободного человека состоит не в мыслях о смерти, а в размышлении о жизни, было всего лишь изречением, грамматической конструкцией, когда согласование времен подчинялось твердым правилам, будущее не имело никаких преимуществ перед настоящим и прошедшим, и вечность классических текстов торжествовала победу над бренностью жизни.

Почему-то наш учитель отличал меня, могу сейчас сказать — любил, как сына, вернее, как внука, и я беззастенчиво злоупотреблял его привязанностью, опаздывал на занятия. Все уже сидели на своих местах, и он стоял перед кафедрой, лысый и маленький, в долгополой шубе (в аудиториях было холодно, как в погребе), в позе античного оратора, открыв рот и подняв указательный палец. Я появлялся на пороге, и, не поворачивая головы, он саркастически приветствовал меня: «Доброе утро!»

Только что была прочитана очередная фраза Саллюстия, поднятый палец означал, что учитель задал свой любимый вопрос и ожидает ответа. Мы разбирали текст, как шахматную партию, нимало не задумываясь над тем, что он собственно выражает. Важно было знать, каким оборотом блеснул в данном случае автор, и выпалить:

Praesens historicum! Congruentia inversa!*

Ибо цель и смысл словесности не в том, чтобы что-нибудь сообщить. Цель, и смысл, и достоинство литературы во все века состояли в том, чтобы демонстрировать немеркнущее величие языка.

Для избранных существовали факультативные занятия, где мы потели над переводом и комментированием Апологии Апулея, доселе не издававшейся на русском языке. Жуткая история: красивый молодой африканец обольстил богатую вдову, но родственники вовремя догадались, что он зарится на ее наследство, и обвинили его в колдовстве. Только благодаря языку — хорошо подвешенному языку — ему удалось избежать смерти.

Предполагалось, что наш коллективный труд будет опубликован, но в разгар работы старый учитель умер. В первый раз я пришел к нему домой. Он жил совершенно один, на последнем этаже огромного старого дома без лифта, в комнатке, заставленной картонными коробками, где лежали его книги. Слава Богу, он не дожил до моего ареста.

*

Глубокой ночью вас ведут по длинному коридору,в конце поворот, другой коридор, и лестница вниз, и снова коридор. Яркий свет, тишину нарушает лишь звук ваших шагов и цоканье сапог провожатого. Кажется, что во всем огромном здании вы единственная живая душа.

Наконец, остановились под дверью с трехзначным номером, ключ вгрызается в замочную скважину, вас вталкивают внутрь. Перед вами зал спящих. Люди тесно лежат на двух помостах от двери до окна, посредине проход.

Перевод из спецкорпуса в общую камеру — важное событие: много месцев вы не видели никого, кроме следователей, надзирателей и двух-трех сокамерников, не знаете, что творится на белом свете, с трудом представляете себе, какое время года на дворе. Но следствие закончено, осталось ждать, когда вас вызовут и объявят приговор; на это уйдет еще две-три недели. ВЫ разглядываете публику. У вас превосходное настроение.

Утренняя поверка. Обитатели камеры, народ всех возрастов, наций и состояний, выстроились в два ряда вдоль нар. Надзиратель выкликает фамилии. Полагается выйти из ряда, назвать свое имя, отчество и год рождения. Рядом стоит подросток лет шестнадцати в щегольсокм пиджачке, француз с русским именем, которое он не умеет выговорить. После войны родителям-эмигрантам пришла в голову не-

---

* Настоящее повествовательное; обратное согласование подлежащего и сказуемого.

счастная мысль вернуться на родину. Мальчику наша страна не понравилась, он решил уехать назад в Париж. Измена Родине.

Наискосок от меня делает шаг вперед могучий старик в седой щетине. Одет во что-то неописуемое: не то домашняя пижама, не то лыжный костюм тридцатых годов, на ногах тапочки. Говорит громоподобным басом с еврейским акцентом.

Я начинаю привыкать к новому обществу. В камере шестьдесят душ. Мы находимся в одной из старинных, славных московских тюрем. О ней известно, что некогда она получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений. До революции в камере, как наша, содержалось, вероятно, человек пятнадцать, но с тех пор население страны значительно выросло. У окна помещается стол — единственная мебель, кроме нар, за столом сидит бывший посол Советского Союза в Великобритании. За скромное вознагрождение посол предсказывает будущее при помощи шариков из хлебного мякиша. Интересно, где он научился этому искусству?

Если когда-нибудь будет создана общая теория гадания, она должна будет стать отраслью науки о языке. Точность пророчеств зависит от неточности языка, которым пользуется прорицатель, — идет ли речь о толковании снов, прогнозе погоды или прогнозе человечества в XXI веке. Другими словами, гадательная терминология должна быть достаточно растяжимой, чтобы предусмотреть все что угодно. Вспоминая гадателя в камере №163 (он остался жив и много лет спустя выпустил свои мемуары), я не могу не восхищаться точностью информации, которую он выдавал: вы могли узнать, сколько лет вам влепят, сколько еще осталось торчать в тюрьме, далеко ли загонят. Последний вопрос представлял немалый интерес, так как Россия государство весьма обширное. Жаль, что я не спросил у него, когда умрет Сталин.

*

«Ерунда, — сказал старик-Голиаф, поглядывая издали на посла, который, по-видимому, неплохо зарабатывал на своем новом поприще. — У этого бездаря нет ни тени фантазии. Типичный социалистичесикий реализм. А мы живем в век сюрреализма. Запомните это, молодой человек...»

Он был художником Госета — Государственного Еврейского театра, более не существовавшего. Вслед за великим артистом Михоэлсом и второй звездой театра — Зускиным настала очередь и моего соседа по общей камере, хотя он не был столь известен. Соответственно и размах его преступной деятельности был скромнее. Он обвинялся в антисоветской пропаганде, которая состояла в том, что од-

нажды он сказал, будто в стране с такими грязными сортирами построить социализм невозможно. Похоже, что он был прав. Во всяком случае, это обвинение представлялось более правдоподобным, чем злодеяния Зускина и Михоэлса; но у меня на этот счет есть своя теория, а именно, что мы все были виноваты, независимо от того, что мы говорили или делали. Мы были виноваты, так как существовали органы, которые должны были нас вылавливать, кабинеты следователей, где мы должны были сознаваться в наших преступлениях, и лагеря, где нам предстояло строить светлое будущее. Короче говоря, мы были виноваты уже самим фактом своего существования.

Я спросил: что такое сюрреализм?

«Наша жизнь, — ответил он. — Искусство должно шагать в ногу с жизнью. Гадание — тоже своего рода искусство. Но что он мне может сказать? Я и так все знаю заранее...»

Семьи у него не было. Многочисленные спутницы жизни, многочисленные дети — все разлетелось, как разбитая вдребезги посуда. Арестовали его на улице, в центре города среди бела дня: остановился автомобиль, его окликнули. Он подошел, цепкие руки втащили его в машину, дверца захлопнулась, никто не обратил внимания. В Москве можно сесть на тротуар и умереть от тоски или от инфаркта — никто не заметит. Друзья прислали ему пижаму и пятьсот рублей, которые он проедал, получая продукты из тюремного ларька. Не знаю, как обстоят дела нынче, но в те времена в Бутырской тюрьме, несмотря на тесноту, был образцовый порядок: деньги, принадлежащие заключенному, хранились в кассе, можно было заказывать еду. Была даже библиотека.

Увидев меня с книжкой, старик полюбопытствовал, что я читаю. Сам он прочел все на свете. «Евреи — народ книги, — объяснил он. — Пока другие живут и наслаждаются жизнью, мы читаем. Поэтому для нас нет ничего нового под луной. Когда вы станете старше, вы поймете, что я имею в виду».

Что стало со старым художником? Куда он делся? Пережил ли он многодневный путь на край света в темных, до отказа набитых людьми клетках столыпинского вагона, разбой и террор уголовников, пересыльные тюрьмы, карантинные лагпункты? Вспоминая его философствования, я не нахожу их столь оригинальными, какими они мне казались тогда. Видимо, он был склонен считать свою жизнь чем-то вроде парадигмы целого народа и приписывал ему свой собственный образ мыслей. Это бывает часто с интеллигентами. Быть может, он находил в этом утешение.

«Старость, молодость — какая разница... Мы уже рождаемся стариками. В возрасте, когда наши сверстники сидят на горшке, мы размышляем. Это оттого, что мы очень старый народ. Мы зажились на этом свете...»

«Мы живем в истории, как другие живут в реальной действительности, мы шагаем спиной вперед, лицом к далекому прошлому, к библейским предкам. Все, что для других — будущее, мы уже пережили».

Голоса сотрясают пузырь молчания, но это не голоса живых. Незаметно для нас самих наступает двойное отчуждение от внешнего мира и от собственного измочаленного тела. Не только мир, но и свое тело ощущаешь как нечто внешнее по отношению к тому, чем ты, собственно говоря, являешься. И вот оказывается, что это «я», наша личность — всецело соткана из памяти.

Эдуард ШУЛЬМАН

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЕВРЕЙ

О нем вспоминает Федор Августович Степун в своей книге «Бывшее и несбывшееся»:

«Природа наделила Григория Адольфовича Ландау блестящими дарованиями, но жизнь жестоко насмеялась над его даровитостью: то немногое, что он написал, мало до кого дошло и мало на кого произвело должное впечатление. Помню, с каким захватывающим волнением читал я в окопах (первой мировой войны) только что появившуюся статью Ландау «Сумерки Европы» (журнал «Северные записки», 1914, №12). В этой замечательной статье высказано многое, что впоследствии создало мировую славу Освальду Шпенглеру («Закат Европы», тт. 1-2, 1918-1922)* .

Появившаяся в берлинском издательстве «Слово» (в 1923 году) под тем же заглавием («Сумерки Европы») большая книга Григория Адольфовича, полная интересных анализов и предсказаний, также прошла незамеченной в эмиграции. Мои хлопоты о переводе ее на немецкий язык ни к чему не привели. И это в те годы, когда на немецкий переводилось все, что попадало под руку.

Причину литературной неудачи Григория Адольфовича надо прежде всего видеть в том, что он был чужаком решительно во всех лагерях.

---

* Но «русским Шпенглером» почитался не Ландау, а Эмилий Карлович Метнер (1872-1936). — *Прим. публикатора*

Русская лево-прогрессивная общественность не принимала его потому, что, по ее мнению, русскому еврею надлежало быть если не социалистом, то по крайней мере левым демократом. Ландау же был человеком консервативного духа. Чужой в левых интеллигентских кругах, он, как германофил, не был своим и среди либерал-консерваторов, убежденных приверженцев союзнической (англо-французской) ориентации.

Но и от германофилов Григорий Адольфович быстро отошел, так как в годы войны (первой мировой) германофильство процветало у нас в лагере крайних реакционеров-антисемитов или в лагере большевиков-пораженцев. Ни с марковцами, ни с ленинцами у Ландау не могло быть ничего общего».

ГЛУБОКИЕ СКОБКИ

Кто такие ленинцы — худо-бедно известно. А марковцы — сторонники Николая Евгеньевича Маркова, депутата Государственной Думы. Родился в 1866 году. По образованию — инженер. Сын довольно известного в свое время писателя и журналиста.

9 февраля 1911 года Марков-2, внешне похожий на Петра I, выступал в российском парламенте:

«Вы уже знакомы с моей точкой зрения на иудейскую расу, как на расу человеконенавистническую, расу преступную и преступающую те нормы христианского правосознания, которые считаются всеми народами, кроме иудеев, — по крайней мере всеми христианскими народами, — обязательными. И раз это так (а это несомненно так)*, раз евреи в отношении остальных граждан Российской империи являются элементом, постоянно нарушающим закон, — они и должны подвергаться всем ограничениям, которым исторически их подвергали за преступное отношение к человечеству.

Иудеи подвергались ограничениям не в силу каких-либо дурных свойств окружающих народов (и в том числе русского народа), они подвергались всяческим стеснениям и ограничениям ввиду того, что все государства мира, все народы мира защищались от натиска преступной иудейской расы, от покушения этой преступной расы на благосостояние, на самую душу этих народов.

Русские люди еще не в состоянии бороться с иудеями своими средствами. Иудейская сила, сила чрезвычайная, сила почти не человеческая, — это сила, с которой отдельные люди не в состоянии бо-

* В чем Марков свято уверен.

роться. С этой ужасной силой, которой я необычайно боюсь, с этой адской силой бороться под силу только государству.

Я утверждаю, как утверждал всегда, что угнетение отдельных национальностей, в данном случае иудеев, нисколько не противоречит идеалам здоровой государственности» (подчеркнуто Марковым).

Как существует Агасфер — Вечный Жид (см. «Мифологический словарь». М.,1991, стр. 13), так мыслима и противоборствующая фигура — Вечный Антисемит. На эту роль и претендует Марков. Вполне бы сгодился. В прототипы уж точно... Благополучно пережил революцию. Эмигрировал. Осел в Германии. Сотрудничал с нацистами... После 1945 года следы его теряются.

Многоточие. Скобки закрываются.

«...известно, — продолжает Степун, — что Андре Жид, посетивший Россию, пришел в ужас от большевистского конформизма (Андре Жид. Возвращение из СССР. М., 1990).

Что говорить, советский конформизм — вещь страшная. Но пример Ландау учит тому, что требование конформизма было не чуждо и нашей свободолюбивой интеллигенции. Чужаков, не исполняющих социальных заказов, она безжалостно заклевывала.

В последний раз я видел Григория Адольфовича в Берлине уже после издания Нюрнбергских законов (1935-й год, сентябрь) о положении евреев в Германии. От блестящего, несколько даже надменного по виду человека, с которым я познакомился в Петербурге, почти ничего не осталось. Полинял Григорий Адольфович, вытерся вместе с бобровым воротником своей шубы. Светлый взор отяжелел мутным оловом. Поредели и поседели виски. Видно было, что и костюм и галстук выбраны обнищавшей рукой. Прежними были лишь гордый откид головы, тихий голос и горькая ирония у рта. Встреча была мимолетной. О больном вопросе не говорили, но боль, пронзительная, нечеловеческая боль чувствовалась без слов».

***

Ни в Еврейской энциклопедии (Иерусалим, 1988), ни в биографическом словаре «Русские писатели» (Москва, 1994) нет портрета Григория Адольфовича Ландау. И наша работа — не более как попытка нарисовать тот портрет, хотя бы эскизный, хотя бы словесный.

Ландау, судя по воспоминаниям Степуна, был невелик ростом, светлоокий...

«Еврею из Минска, — размышляет Вера Михайловна Инбер, — редко удается быть голубоглазым. Но если уж это случается, то такие голубые глаза поражают своим потусторонним выражением. Начинает

казаться, что такой еврей все еще плывет в ковчеге и наблюдает мир с араратской высоты».

Вера Михайловна — поэт и вдобавок уроженка Одессы. Малость преувеличивает. Мы, «литваки» (литовско-белорусские евреи), частенько бываем рыжими и с голубыми глазами...

Действительно, отец Ландау — Адольф Ефимович (Арон Хаймович) — родился в городке Россиены (Расеняй, вблизи Каунаса). Кончил раввинское училище в Вильнюсе (Вильно) и поступил на юридический факультет Петербургского университета, который оставил по бедности (исключен за невзнос платы).

Сделался журналистом, а со временем — очень крупным издателем, весьма состоятельным человеком, что (опять-таки по отзыву Степуна) наложило на сына, Григория Адольфовича, определенный отпечаток (комплекс «наследнего принца»).

Коренной петербуржец, выпускник столичного университета, Ландау-младший (1877-1941) много печатался, присуждал литературные премии, учрежденные отцом, был членом ЦК кадетской партии, включен в X том дореволюционной Еврейской энциклопедии (едва ли не самый молодой) — вообще старался на практике, собственной жизнью воплотить завет отца, которой (завет) заформулирован в справочнике:

«Разделяя взгляды умеренных ассимиляторов, Адольф Ландау (1842-1902) считал, что евреи обязаны овладеть русской культурой, оставаясь вместе с тем верными национально-религиозным ценностям иудаизма».

Выяснилось, однако ж, что подобное элементарное совмещение не так-то просто осуществить.

***

Есть три версии, как не стало Григория Адольфовича Ландау.

Первая — самая правдоподобная: арестован перед войной, возможно за неделю, когда очищали Прибалтику от подозрительных элементов. А Ландау был некогда соредактором кадетской газеты «Руль» (Берлин). Прямой, выходит, контрреволюционер! Агент Милюкова!

Вторая версия — вполне вероятная. Ландау пересидел ту неделю, дождался немцев и был ликвидирован без вины — за национальную принадлежность.

Третья версия — фантастическая. Война застала его в Либаве (Лиепае). Он принял участие в героической обороне советской военно-морской базы. Старик 64-х лет бежал в атаку рядом с молоденькими краснофлотцами, кричал «Ура!» и «За Родину!» Русский интеллигент

еврейского происхождения, доброволец рабочего батальона — Ландау сражен в уличных боях и похоронен в безымянной могиле.

***

Из книги «Сумерки Европы»:

«Своеобразна в тысячелетиях судьба еврейского народа. Длительность его существования обусловливается, конечно, частью внутренними, духовными свойствами, но частью и внешним соотношением с народами окружающими. Периоды расцвета и упадка всецело определяются той государственно-культурной средой, сквозь которую в данный отрезок времени проходит еврейский народ. Можно сказать, что в те эпохи расцветала еврейская жизнь, которые (эпохи) были созвучны еврейской духовности, нуждаясь в ней как в своем дополнении.

Здесь не место уяснять духовные и социальные особенности, коими определяется возможность расцвета в чужой культуре и чужой государственности. Отмечу лишь существенные черты.

Как народ преимущественно городской жизни, духовно обогатившийся в рассеянии, еврейство способно процветать только в широком мире. Мелкая государственность его дробит. Народ сохраняет свою массу исключительно в крупном государстве.

А масса приобретает для евреев сугубую важность, ибо они лишены других сцепляющих начал — пространства и политической организации. Обширность территорий и связанность с нею разнородных населений имеет еще и то значение, что при сочетании в едином государстве многих национальностей евреи легче сохраняют себя и свою веру.

В мелком государстве обречено еврейство либо обезличиться, поглощенное господствующим населением, либо противостоять ему как чужеродное тело. То, что в многонаселенной, многонациональной и многоверстной империи является естественным или хотя бы приемлемым, то в мелкой державе — аномалия и болезнь».

Наблюдения Ландау отчасти (и относительно) справедливы. Нация-монолит или ассимилирует, или же изгоняет евреев. В разные периоды и в разных формах это продемонстрировали Испания, Польша, Германия... Евреи становятся французами, англичанами, американцами. Правда, в последнем случае (США — страна многонациональная) нам легче остаться евреями.

Новейший пример — Япония. Цитата из вечерней газеты:

«Я еврей, — пишет Исайя Бен-Дасан, — и где бы ни родился — был бы евреем. Родился я в Кобе; но это обстоятельство не превращает меня в японца. Если бы я родился в Соединенных Штатах, то независимо от происхождения был бы американским гражданином. Японские законы не таковы. И обладая гражданством, вы можете об-

наружить, что вас все равно не признают настоящим японцем, как считают чужаками, например, корейцев, чьи предки привезены на остров лет 300 назад».

Ландау употребляет (и неоднократно) термин «империя». Он и был, собственно, «имперским евреем». Таким, как старший наш современник Наум Моисеевич Коржавин, как Иозеф Рот, что оплакивал австро-венгерскую монархию. Как Стефан Цвейг, для которого Европа в целом была «империя».

А Россия, по нынешним статистическим выкладкам, становится в национальном плане (фактически уже стала) страной-монолитом, где русские составляют не две трети, как раньше, и даже не три четверти, а 85% населения.

***

Когда мы обмолвились насчет «наследного принца», подразумевали не столько (по Степуну) «гордый откид и блестящую надменность», сколько,· как бы сказать, поэтику и стилистику. Справочник «Русские писатели» сообщает:

«Ученый по складу ума (Владимир Набоков назвал его «тонким философом») — Ландау не мог ограничить себя академическими рамками и стремился соединить «злобу дня» с философским анализом. Для читателей газет он был не всегда понятен, для людей «чистой науки» — недостаточно академичен».

Другими словами, профессиональный литератор — философ, культуролог, публицист — Григорий Адольфович Ландау не отработал стиль. Точно в забор, уперся в проблему «ученый-художник». Взамен черточки вставьте, пожалуй, «и». Но куда ж нам девать противительное «или»?

Потому что научную прозу, критическую прозу, философскую прозу (театральную, мемуарную...) создает писатель. Тема «Бердяев-художник» или «Шестов-художник» требует отдельного рассмотрения. но с трудностями «по Ландау» столкнулся, нам кажется, Петр Бернгардович Струве... Он говорит:

«Г.А. Ландау — выдающийся и превосходно образованный публицист с философской складкой ума и силой юридического, несколько слишком расщепляющего анализа...»

Как портретист во всякой модели невольно отображает себя, так Струве в данной характеристике запечатлел местами собственную личность. Выдающееся и превосходное образование плюс философс кая складка ума противодействуют где-то творческой легкости. Кто обладает «силой юридического, несколько слишком расщепляющего анализа», тому покорится, допустим, научная точность.

А художественная? Которая, как перевел с французского Пастернак, «точно под хмельком»... Научная скрупулезность, последовательность, обстоятельность — не перечат ли они такому качеству прозы, безусловно необходимому, но присущему изначально, по словам Набокова, поэзии, — умению пропускать .

Дарование, конечно, от Бога. Но ведь присутствуют и наши, человеческие усилия! «Журналистский опыт, — указывает справочник «Русские писатели», — приобретал Ландау в редакциях издаваемых отцом сборников». То есть работал предположительно без редакторских придирок и вне материальной заинтересованности. Не так чтобы сильно радел о читателе. Не слишком заботился о читабельности. В чем, на наш взгляд, и отразился тот самый комплекс **«наследного** принца».

СУДЬБА ЛАНДАУ

Не того, который Алданов — эссеист и прозаик (1889-1957). И не физика Льва Давидовича, Нобелевского лауреата (1908-1968)...

А жил-был в буржуазной Латвии такой Ландау, кажись, Григорий Адольфович, которого вся межвоенная эмиграция дразнила-поддразнивала «ответственный еврей».

Дескать, Россия погибла, а мы, значится, в стороне?

Нет, говорит, дорогие Абрамчики! Моя совесть не дремлет! Принимаю, кричит, огонь на себя!

Ну, вызываешь — возьми. В сороковом году наши войска подоспели, а в сорок первом — немецкие... Вот он за все и ответил.

***

Биографию Григория Адольфовича Ландау и список его трудов отыщите вы в упомянутом словаре «Русские писатели, 1800-1917» (М., 1994, т. III, стр. 287-288). Сверх того, «Вестник Еврейского университета в Москве» (№№ 2 и 3 за 1993 год) поместил «Воспоминания» Григория Адольфовича Ландау, а сборник «Pro et contra» (СПб, 1994) — знаменитую статью «Тезисы против Достоевского».

Ниже мы публикуем отрывки из книги «Эпиграфы» (Берлин, 1927), заметив предварительно, что «эпиграф» по-древнегречески — «надпись на памятнике», не обязательно надгробном.

Итак, «Афоризмы и комментарии», где афоризмы принадлежат Григорию Адольфовичу Ландау, а комментарии — публикатору:

1. МУСОР СЛЕДУЕТ ВЫМЕТАТЬ ИЛИ ДЕЛАТЬ РЕЛИКВИЕЙ.

Отсюда картины современного художника Ильи Кабакова, который воспроизводит, как в декорациях, коммунальный быт. И обалделые европейцы бродят по комнатам, заглядывают на кухню, посещают «места общего пользования»...

Или идея Михаила Наумовича Эпштейна создать «лирический музей», — выставлять самые обыкновенные вещи, ценные исключительно для владельца.

2. ЕСЛИ ТЕОРИЯ ОБЪЯСНЯЕТ ВСЕ, ОНА НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНЯЕТ.

Типичный пример — «принцип дополнительности». 9/10 случаев укладываются в общую теорию, а для 1/10 придумано нечто обратно-противоположное.

3. АФОРИЗМЫ О ЖЕНЩИНАХ СУТЬ АФОРИЗМЫ О ЖЕНЩИНЕ.

Как Лев Николаевич Толстой грозил прекрасному полу. Мол, правду о вас скажу, когда одной ногой в гроб залезу. Выкрикну напоследок — и крышкой прихлопнусь!

Но что уж такого разоблачительного имел сообщить классик? И почему так яростно воевал с женщинами?.. Да в том и дело, что не с женщинами! А только с дражайшею половиной Софьею Андреевной...

4. НЕ ТОТ СТАНЕТ ВЕЛИКИМ, КТО СПОСОБЕН НА ВЕЛИКОЕ, А ТОТ, КТО НЕ СПОСОБЕН НА МАЛОЕ.

То-то и горе, сокрушался Самуил Яковлевич Маршак, что мы всё можем. Стишок? Стишок. Репризу? Репризу. Подпись под карикатурой? Будьте любезны... И даже политическую эпиграмму в газету:

Пускай слетаются банкиры,
Как стая воронов на пир, —
Плечом к плечу народы мира
Оборонить сумеют мир!

ВСЕГО РАЗНОСТОРОННЕЕ, заключает Ландау, БЫВАЮТ БЕЗДАРНОСТИ.

5. ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ СТОИТ ИМЕТЬ, ЛИШЬ БЫ ИХ НЕ ЖЕЛАТЬ.

В известном смысле перифраз из Уайльда: лучший способ одолеть искушение — поддаться ему.

6. БОЛЬШИНСТВО ТЕОРИЙ — ЛИШЬ ПЕРЕВОД СТАРЫХ ИСТИН НА НОВУЮ ТЕРМИНОЛОГИЮ.

Суть, вероятно, в том, что человечество никогда не смирится с соображением Монтеня: если ты видел весну, лето, осень и зиму, — ты видел, товарищ, всё.

Нет, мы хотим жить каждый день. И каждый день по-новому. Вот почему, полагал Шкловский, функция литературы — в обновлении мира. Назвать старое по-новому — переназвать — значит как бы освежить, воскресить действительность.

7. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ХОРОШЕГО — ДУРНОЕ. НО ВЕДЬ И ХОРОШЕЕ — ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУРНОГО.

Этим термином «обратная сторона» в философско-житейском плане воспользовался Алексей Федорович Лосев. В его книге «Эстетика Возрождения» имеется глава «Обратная сторона титанизма». Что, дескать, такой-то титан и гений завел будто бы 340 детей, а тот-то проделал с тем-то, извините-простите, то-то. Фасад и задворки настолько связны, что:

ИЗУЧЕНИЕ РУГАТЕЛЬСТВ, говорит Ландау, ЕСТЬ ПУТЬ К ИЗУЧЕНИЮ СВЯТЫНЬ.

8. ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, И ПОЭТОМУ НАСТУПАЮТ ПЕРЕМЕНЫ.

Подобным же образом рассуждал, должно быть, режисер Г., снимая своё кино «Так жить нельзя». Но, в отличие от Ландау, здесь и остановился. Между тем:

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, вздыхает Ландау, И ПОЭТОМУ НАСТУПАЕТ СМЕРТЬ.

9. ЕСЛИ БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ НАДО ОБЪЯСНЯТЬ, ТО — НЕ НАДО ОБЪЯСНЯТЬ.

Зинаида Николаевна Гиппиус заформулировала короче:

Если надо объяснять,
то не надо объяснять.

10. НЕ ОБЛЕКАЙ СВОИ МЫСЛИ В ЧЕТКИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, — ЧИТАТЕЛЬ ТОЛЬКО ИХ И ЗАМЕТИТ.

Ну да! Кто читал «Анну Каренину», кто не читал, — все знают крылатую фразу насчет счастливых и несчастливых семей.

11.ПИСАТЬ НАДО ТАК, ЧТОБЫ ЧИТАТЕЛЬ МЕНЬШЕ РАДОВАЛСЯ СКАЗАННОМУ. ЖАЛЕЛ О НЕСКАЗАННОМ.

То бишь почти по Бабелю. Помните?

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Беня говорит мало, но всегда хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

12. ТОЛЬКО КОНСПЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ СИСТЕМОЙ.

А дерево жизни, по классику, всегда зеленое!

13. ДОСТОЕВСКИЙ СМАКУЕТ ИЗНУТРИ ТО, ЧТО СНАРУЖИ БИЧУЕТ ЩЕДРИН. ТЕМА ОДНА: КАРАМАЗОВ — ГОЛОВЛЕВ.

Обычно их считают противниками, антагонистами. Но прав Ландау: корень общий. Они антиподы, что срослись пятками. потому, в частности, и враждуют.

14. ОДНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕМ СОДЕРЖАНИИ, ДРУГИЕ — ПОКАЗЫВАЮТ.

В общем, как учили нас в Литинституте: нужно, товарищи. показывать, а не рассказывать.

15. ЕДВА ЛИ НЕ НА ОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ «ВОЛЯ» ОЗНАЧАЕТ И СИЛУ ПРЕОДОЛЕНИЯ, И ОТСУТСТВИЕ ПРЕГРАД.

На свете счастья нет,
А есть покой и воля...

Кажется, Цветаева говорила, что очень долго понимала «волю» (в данной классической ситуации) как «волевое усилие».

16. НЕРЕДКО ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ МОЖНО, ЛИШЬ ВОЗЛОЖИВ НА СЕБЯ НОВОЕ БРЕМЯ.

Анекдот с козой? Как ребе посоветовал нам подселить козу и корову... А когда животных вернули в хлев, — Боже, как хорошо-то стало!

Или тот еврей,что, уходя на службу, с натугой натягивает ботинок.

— Да что ты мучаешься? — ему говорят. — Купи по размеру!

— Ах! — огорчился. — Жена больна, дочка гуляет, сынок — бандит... Одно удовольствие — прийти с работы и скинуть тесные башмаки!

17. БЕЗГРАМОТНЕЕ БЕЗГРАМОТНОСТИ ТОЛЬКО МАЛОГРАМОТНОСТЬ

То самое, о чем сказал впоследствии Солженицын: образованщина.

18. НЕ ОБИЖАТЬ — ЧУДЕСНАЯ ЗАПОВЕДЬ. БЕДА ТОЛЬКО, ЧТО ОБИЖАЕШЬ КОГО-НИБУДЬ УЖЕ ТЕМ, ЧТО ДЫШИШЬ.

Как некий поэт сказал, что Блок мешает ему. А Блок: «Понимаю. Мне мешает Лев Николаевич Толстой».

19. В БОРЬБЕ С АВТОРИТЕТОМ И ТРАДИЦИЕЙ — СОЗДАЙ ТРАДИЦИЮ И АВТОРИТЕТ

Действуй, стало быть, по закону Ходасевича:

И все ж я прочное звено,
Мне это счастие дано.

20. МУЖЧИНА ПОМНИТ И ПРОЩАЕТ. ЖЕНЩИНА НЕ ПРОЩАЕТ, НО ЗАБЫВАЕТ

Вот и получается так на так...

21. КРАСОТОЙ ДЕТЕЙ И СТАРУХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БЛАГОРОДСТВО РАСЫ

Кто только ни цитировал! Всегда — без ссылки.

22. И НА ОБЩЕЙ ДОРОГЕ МОЖНО РАЗМИНУТЬСЯ С СОВРЕМЕННИКАМИ

Как те поезда, что мчатся по однопутке навстречу друг другу... Отчего ж не столкнулись? Не судьба!

23. ЛОГИКА ВИНОВНОСТИ

Все виноваты, говорит человек борьбы. Значит, ты виноват.
Все виноваты, говорит человек совести. Значит, я виноват.
Все виноваты, говорит человек печали.. И повторяет: все виноваты.

24. УМЕНИЕМ ГОВОРИТЬ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ЛЮДИ ИЗ МИРА ЖИВОТНЫХ, УМЕНИЕМ МОЛЧАТЬ — ИЗ МИРА ЛЮДЕЙ.

25. РЕЧЬЮ КУЕТСЯ МЫСЛЬ, МОЛЧАНИЕМ — ДУХ.

26. СЧАСТЬЕ — НЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, А СПОСОБНОСТЬ ЕГО ДУШИ.

27. ВСЕ В НИХ МИНИАТЮРНО. И ДАЖЕ ДУХ ВЕЕТ ДУШКОМ

28. ГЛУПОМУ СМЕШНО НЕДОСТАТОЧНО ПОНЯТНОЕ, УМНОМУ — ЧЕРЕСЧУР ПОНЯТНОЕ...

29. НЕПРИЯТИЕ МИРА — СЛИШКОМ ЧАСТО НЕПРИЯТИЕ МИРОМ

30. ИНОГДА ЖАЖДА МИСТИКИ — ЛИШЬ ТОСКА РАЦИОНАЛИСТА ПО НЕДОСТУПНОЙ ИНТУИЦИИ.

31. РЕЧЬ МИСТИКА НЕВНЯТНА. В ЭТОМ — ВЕЛИКИЙ СОБЛАЗН И ВЕЛИКАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И НАРОДОВ, НЕ ОВЛАДЕВШИХ ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОСТЬЮ.

32. ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА ВОЮЮТ ДЕМОКРАТИИ (В ИСТОРИИ) ДА БАБЫ НА РЫНКЕ.

33. ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ВЕРИШЬ В БОГА, — ВЕРЬ В СИЛУ МОЛИТВЫ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Петр СТРУВЕ

ОБ «ЭПИГРАММАТИЧЕСКОМ» РОДЕ

Г.А. Ландау, выдающийся и превосходно образованный публицист с философской складкой ума и силой юридического, несколько слишком расщепляющего анализа, выпустил маленькую книжечку, сборник афоризмов под заглавием «Эпиграфы».

Ландау — очень умный писатель. Принадлежа к среде радикальной интеллигенции, он вышел из русской революции не радикалом, а скорее консерватором, умудренным всем ее опытом, субъективным и объективным. Человек скептический, он после революции на нее направил весь режущий холод своего ума, положив под его анали-

тический нож заодно и все главнейшие результаты мировой войны. Так получилась замечательная, полная глубоких мыслей книга «Сумерки Европы», вышедшая четыре года тому назад.

«Эпиграфы» Ландау есть опыт в литературном роде, который автору не сродни. Нужно сказать правду: *книга эта литературно не удалась* (курсив Струве. — Э.Ш.). Она и слишком сложна, пожалуй, вычурна, и слишком оттеночна (нюансирована) для книги афоризмов. Максимы, «эпиграммы», «эпиграфы», в широчайшем смысле слова, не должны ни ходить вокруг предмета, ни обвивать, ни расщеплять его. Они должны по нему ударять. И бить в точку.

«Эпиграмматический» дар вовсе не всегда сочетается с большим и оригинальным умом. Часто «афоризмы» или «эпиграфы» суть как бы выношенные рядом поколений и отточенные умелой, но не творческой рукой общие места, почти банальности. Слишком новые и слишком свои мысли часто не годятся в афоризмы. Даже великие писатели в этом роде — как показало исследование, были разительно неоригинальны.

Относительно Ларошфуко (1613-1689) отчетливо вскрыты заимствования прежде всего у Сенеки, затем у Монтеня и других. Буало не был ни глубоким, ни оригинальным автором, но его произведения — кладезь изречений, ставших пословицами и известных многим, даже не подозревающим о существовании Буало, этого великого поэта в... «полупоэзии», по саркастическому выражению Жубера.

В русской литературе «эпиграмматическим» даром были изумительно наделены Крылов и Грибоедов, в этом отношении первые русские писатели. По содержанию, конечно, их мысли-изречения скорее неоригинальны и потому, может быть, так легко были «приняты» и вошли в пословицы.

Исключительно «эпиграмматическим» или «афористическим» даром блещет в нашей литературе кн. П.А. Вяземский, которому, как поэту, удавались в общем не целые стихотворения, а именно отдельные стихи-изречения и даже отдельные выражения, который был замечательно умен, не будучи вовсе умом творческим. Еще А.А. Бестужев в своей «Полярной звезде» в 1823 году писал о тридцатилетнем тогда кн. Вяземском: «Почти каждый стих его может служить пословицей, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагораживает народные слова и любит блистать неожиданностью выражений».

Способность чеканить меткие и потому могущие стать ходячими мысли как-то тесно связана с развитием, во-первых, философской культуры и, во-вторых, литературного языка. Значение второго обстоятельства особенно наглядно и существенно. Чем более отточен и потому точен язык, тем легче на нем говорить эпиграммами и афоризмами, чеканить максимы.

Отсюда — изумительное «эпиграмматическое» богатство французской литературы. Монтень, Шаррон, Паскаль, Ларошфуко, Лабрюйер, Вовенарг, Шамфор, Ривароль, Жубер оставили замечательные, отчасти прямо классические образцы этого рода, и некоторые из этих писателей только в нем и прославились.

Таков Шамфор, который принадлежал к числу французских интеллигентов, накликавших революцию и ею убитых, — он не был гильотинирован, но в революционной тюрьме покушался на самоубийство*. Пушкинское «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» внушено, по-видимому, Шамфором: L'amant trop aimé de sa maitresse semble l'aimer moins et visa versa.

Таков Ривароль, эмигрант эпохи революции, творец, быть может, самых острых изречений на французском языке, автор, которому принадлежат в области государствоведения мысли глубокие и верные.

Таков, наконец, французский платоник, друг Шатобриана, Жубер (1754-1824), который при жизни ничего не печатал: первое издание его афоризмов (1838), сделанное Шатобрианом, не предназначалось для публики, но автор и его мысли стали известны благодаря статье Сент-Бева, которая проложила путь дальнейшим, уже поступившим в продажу, изданиям.

«Мысли» Жубера есть последнее, самое утонченное звено в том литературном роде, который для французов идет от Монтеня. Они уже слишком умны, сложны и разноцветны для той задачи, которую Жубер сам себе ставил: «превратить мудрость в ходячую монету, вычеканить ее в подлежащие запоминанию и передаче максимы, поговорки, сентенции».

Но у Жубера — при всей сложности и глубине его мысли — был все-таки подлинный, меткий и сильный, афористичный стиль, и собственный, и усвоенный от длинного ряда предшественников. Такого стиля нет у Ландау. Его умные мысли начертаны пером или стилем чисто книжным (livresque, по выражению, идущему от Монтеня, или livrier, по непривившемуся выражению Жубера). Поэтому они, в сущности, бессильны, «отдают бумагой, а не миром Божиим, другими авторами, а не сутью вещей» (Жубер).

В русской литературе мало или почти нет нарочито написанных «максим», или афоризмов. Лучшие из них разбросаны в стихотворениях, в классических романах и повестях. Подлинные жемчужины русской афористической прозы можно найти в письмах Пушкина, Тургенева, Чехова, Эртеля, в «Записной книжке» князя Вяземского (называю «на выбор» несколько имен, но ими, конечно, отнюдь не ограничивается афористическое богатство нашей прозы).

---

* Советский автор излагает иначе: «Тюрьма произвела на Шамфора тягчайшее впечатление. Он поклялся, что покончит с собой, если его опять арестуют».

Хорошо бы из богатой сокровищницы русской литературы — от «Слова о полку Игореве» и «Летописей», через Ивана Грозного, Петра Великого и Посошкова до Леонтьева, Владимира Соловьева и Розанова — любовно составить антологию, цветник русских четких мыслей, сильных изречений и крылатых слов.

ЗАМЕЧАНИЕ ПУБЛИКАТОРА

Петр Бернгардович Струве несколько, что ли, ущемляет понятие «афоризм», сводя его исключительно к «крылатому выражению». Есть между тем тонкие и глубокие суждения, которые никогда, наверное, не внедряются в обыденное сознание.

Например, у Ландау:

1. Выразительность дается отклонением от нормы.
2. Со сторублевой бумажкой вас высадят из трамвая: необходимо иметь четвертак.
3. Против Маркса. Дескать, пролетариату нечего терять, кроме своих цепей... Цепи, — говорит Ландау, — пожалуй, единственная вещь, которую можно порой сбросить... но никак нельзя потерять!
4. Геройство, конечно, не обязательно. Кроме того случая, когда его требует порядочность.
5. Не будь гордым — твори. Бог сотворил мир в минуту смирения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КГБ Латвийской ССР. Дело Г.А. Ландау

Арестован в Риге 9 июня 1941 года... приговорен к высылке вместе с женой. Все ценное имущество изъято в пользу НКВД, прочее — оставлено родственнику А. Каминке для реализации в 10-дневный срок. Умер 15 ноября 1941 года от миакардита. Похоронен на кладбище поселка Сурмог Соликамского района Пермской области РСФСР. Как сказано в письме начальника Учреждения АМ-244, «точное место захоронения установить невозможно за давностью лет». Остался только отпечаток пальца и лагерный номер — 60727.

(Евреи в культуре Русского Зарубежья, т. 2. Иерусалим, 1993, стр. 543).

Дмитрий СЛИВНЯК

ИСХОД И НЕСКОНЧАЕМАЯ БИТВА: ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ АРМЯН И ЕВРЕЕВ

1.

Целью этой статьи является сравнение того, каким образом армяне и евреи воспринимали и осознавали себя на разных этапах своего исторического пути.

Наличие развитого этнического самосознания является отличительной чертой обоих народов с самого начала их истории. Значительное сходство исторических путей развития армян и евреев во многом определило и сходство их «образов себя» — начиная со Средневековья, когда армянское самосознание в существенной мере ориентировалось на «еврейские» (библейские) парадигмы, минуя этап секуляризации с характерным для него переосмыслением истории и заканчивая современным периодом с актуальными для этого времени оппозициями «Родина — диаспора», «Катастрофа — возрождение» и т.д.

Одновременно в структуре национального самосознания армян и евреев есть существенные различия, имеющие религиозные корни. Христианство, которое исповедуют армяне, — религия универсальная, и армяне традиционно мыслят себя как один из многих христианских народов, может быть — один из самых угодных Богу и сохранивших самое «чистое» христианство, но не единственный. С другой стороны, для досекулярной формы еврейского самосознания народ идентичен религиозной общине Завета и является единственным в своем роде, избранным, наделенным особой миссией в мире. Отсюда разная роль религии на дальнейших этапах развития самосознания обоих народов: евреи в основном идут по пути переосмысления традиционных формул, обрядов и т.д., тогда как армянам в значительно большей степени приходится черпать материал с периферии религиозной традиции, из фольклора и национальной истории.

Строго говоря, у евреев никогда не было полностью разграничено самосознание этноса и религиозной общины. Поэтому, если у армян в условиях кризиса религии естественной базой самоидентификации становится территория, на которой проживает значительная часть народа, разговорный и литературный язык, то у евреев в аналогичных обстоятельствах возникает сомнение в существовании народа как отдельной общности, а целенаправленные усилия по восстановле-

нию прежней территории и языка парадоксальным образом могут восприниматься как попытка создания нового народа, имеющего мало общего со своими предками.

Наконец, как армянам, так и евреям в течение длительных периодов приходилось бывать в роли преследуемого меньшинства, и переживание себя в качестве объекта ненависти стало интегральной частью соответствующих национальных мифологий. Однако только у евреев в определенные моменты истории враждебность окружения могла становиться едва ли не основным фактором, определяющим национальную идентичность, препятствующим полной ассимиляции и побуждающим к политическому и культурному творчеству.

2.

В библейской картине мира, в значительной степени унаследованной более поздними эпохами еврейской истории — вплоть до эмансипации — идентичностъ народа Израиля определяется двумя факторами: общим происхождением и специфическими отношениями с Богом, определяемыми понятием Завета. Как известно, евреи традиционно рассматривают себя как потомки Авраама, покинувшего Междуречье и переселившегося в Ханаан. Отсюда и одно из самоназваний народа: *иврим* — «люди с той стороны». Библейские тексты содержат большую генеалогическую информацию, и их персонажи часто характеризуются, например, таким образом: «И был человек из Раматаим Цофима из гор Эфраима по имени Элькана, сын Иерохама, сына Элиху, сына Тоху, сына Цуфа, Эфраимлянина (Шмуэль I, 1:1). «Был некто из сынов Биньямина, имя его Киш, сын Авиэля, сына Црора, сына Бехората, сына Афиаха...» (там же, 9:1). Иными словами, библейскому повествователю известна родословная его героев вплоть до первопредков еврейского народа — Авраама, Ицхака и Яакова.

После Вавилонского пленения непрерывность генеалогической традиции постепенно утрачивается и появляется институт национально-религиозного прозелитизма. По словам Вавилонского Талмуда, «потомки Сисры учили Тору в Иерусалиме, потомки Санхерива преподавали Тору многим (...), потомки Амана учили Тору в Бней-Браке» (Санхедрин, 96:2). Как видно из приведенного отрывка, здесь происхождение от Авраама уже не может пониматься в прямом смысле, и даже потомство врагов еврейского народа может раствориться среди евреев. Тем не менее, в традиционном еврейском сознании в целом до сих пор еще присутствует ощущение генетического единства народа.

Другой, едва ли не более важный аспект трацыционного еврейского самоощущения — это восприятие себя в качестве «общины Завета», связанной с Богом особыми отношениями. От Израиля требует-

ся быть «царством священников и народом святым» (Исход, 19:6) — это особый, «избранный» народ, и то, что на него возложена разветвленная система заповедей, является для него особой честью. С другой стороны, неисполнение заповедей ведет к наказанию — вплоть до изгнания из страны и рассеяния. Вся еврейская история традиционно воспринимается как рассказ о взаимоотношениях Бога с Израилем — от исхода Авраама из Междуречья по велению Божьему (Бытие, 12, 1-4), минуя Исход из Египта и завоевание страны Ханаан и вплоть до изгнания из страны за идолопоклонство и возвращения из Вавилонского плена. Более поздние этапы еврейской истории обычно не получали столь однозначной теологической интерпретации, и даже восстановление государственности в двадцатом веке носителями традиционно-религиозного сознания подчас воспринимается прямо противоположным образом — от «начала Искупления» (последователи раввина А.-И. Кука) до «великой тьмы перед концом изгнания» (антисионистская группа Нетурей Карта).

Подобно евреям, армяне традиционно воспринимают себя в качестве группы, объединенной общим происхождением. В исторических сочинениях V — VII вв. — у Хоренаци и Себеоса — приводится генеалогия прародителей армян. По Хоренаци, прародителем армян является Хайк — праправнук библейского Иафета (Ефета), живший в Вавилонии под властью правителя Бела («хозяин», «господин» по-аккадски). Хайк не хочет подчиняться власти Бела, уходит от него на север и там обороняется от нашествия вавилонского правителя. Здесь «библейские» ассоциации вызывает мотив переселения (кстати, из того же района, из которого выселился Авраам и, возможно, от того же правителя — Бел в христианскую эпоху отождествлялся с Нимродом (Небровтом), от которого, судя по мидрашу, бежал и праотец евреев) и необходимости борьбы с преследователями (ср. мотив рассеченного моря в рассказе об исходе из Египта). Одновременно рассказ Хоренаци связывает армян с библейской генеалогией. Правда, в отличие от библейской, генеалогия Хоренаци «однолинейна», не содержит членения на колена и более мелкие группы, дающего возможность отдельному человеку «вписать себя» в родословное древо целого народа.

Оказываясь часто преследуемым меньшинством в религиозном плане, армяне, в отличие от евреев, никогда не ощущали себя особо выделенной «общиной Завета», а только одним из христианских народов, но лучше других знающим истину и больше других угодным Богу*.

---

* Мотив «Бог любит армян больше других народов» встречается, например, у историка Киракоса Гандзакеци (XIII в.) в описании видения неких персов, искавших крещения по армянскому обряду (см. Киракос Гандзакеци, История Армении. — Ереван: Изд. АН Армянской ССР, 1961, стр. 350-353, на арм. яз.)

Лишь на рубеже Нового времени во мхитаристских кругах появляется представление об армянах как о «жителях рая» и об армянском как о первом языке человечества. Это, пожалуй, единственный период, когда армянское национальное самосознание приобретает и «универсальное» измерение* .

Зато в Средневековье у армян был популярна другая концепция, берущая начало в Библии — истолкование исторических несчастий как наказания народа за грехи. Такую концепцию мы находим, например, в историческом сочинении Аристакеса Ластивертци (XI в.), в поэзии Фрика и Шнорали. Часто при этом армяне прямо сравниваются с народом Израиля, как, например, у Фрика:

Or barkac, ar Hayoc, azgi,
Inc, pes Hreic, n Israyeli
(Что разгневался на армянский народ,
Как на иудеев Израильских).

3.

По мнению Элиаса Канетти, главной национальной мифологемой евреев является исход из Египта. Это — одна из основных парадигм еврейской истории, под которую в большей или меньшей степени подходят такие легендарные и исторические события, как исход Авраама из Ура Халдейского, бегство Яакова от Лавана, возвращение из вавилонского плена, сионистское «собирание изгнанников» (особенно сильной мифологизации подвергался «исход» советских евреев в семидесятые — девяностые годы). Фундаментальные для этой нарра-

---

* Характерное для этого периода сочетание «партикулярного» и «универсального» можно найти в известном стихотворении О. Мирзы-Ванандеци (начало XIX в.), положенном на музыку Комитасом:

Hayastan, erkir draxtavayr,
du mardkaynoy c elis orran,
du ew bnik im hayrenik,
Hayastan, Hayastan

(Армения, земля райская,
Ты колыбель человеческого рода,
Ты и Родина моя,
Армения, Армения).

тивной схемы понятия «галут» (коннотации: изгнание, рабство, плен, рассеяние) и «геула» (коннотации: собирание воедино, вызволение на простор) в лурианской каббале (XVI в.) и более поздних мистических (прежде всего, хасидских) источниках приобретают космологический характер: речь идет об «изгнании Шехины», «вызволении плененных искр» и т.д. Также многозначен и может реализоваться в разных сферах связанный с этой мифологемой мотив возвращения: это может быть возвращение евреев в Эрец-Исраэль (само слово, как известно, входит в название закона, гарантирующего право евреев на иммиграцию в Израиль), но может быть и покаяние — «возвращение к Богу». Еврейская (и шире — космическая) история мыслится, таким образом, как цепь уходов и возвратов, пленений и освобождений, рассеиваний и собираний.

Играет подчиненную роль и связан с нарративной фазой «галута» мотив «разрушения Храма» («изгнания Шехины»).

Согласно еврейской традиции, Первый и Второй Храмы были разрушены в один день — 9 ава. К этому же дню традиция относит изгнание евреев из Англии, Франции и Испании (соответственно, в 1290, 1306 и 1492 годах). Вообще говоря, гибель любой еврейской общины диаспоры воспринималась как «разрушение Храма» в миниатюре.

В двадцатом веке в сионистской идеологии акцентировалась связанная с нарративной фазой «геулы» тема завоевания страны, отраженная в библейской книге Иегошуа бин-Нуна (Иисуса Нав ина), однако долговременного успеха такая переакцентировка не имела. Зато после победы в Шестидневной войне в системе израильских национальных культов органично вписалась тема освобождения Иерусалима, на чем мы подробнее остановимся ниже.

Если основная мифологема еврейского самосознания — это исход из Египта, то для армян ту же роль играет, судя по всему, битва, где армянское войско терпит поражение, однако, в конечном счете, одерживает моральную победу и не дает завоевателям осуществить свои планы. Этот мотив известен в двух основных вариантах — «языческом» (битва Ара и Шамирам) и «христианском» (Аварайрское сражение). Как писал уже в советское время Геворк Эмин, «в течение веков — от Ара Прекрасного до Аварайра и Сардарапата — мы побеждали, умирая...»

Особенно явственно разработан мифологизирующий, парадигматический аспект в восприятии Аварайрской битвы. Посвященная этому событию книга Егише «О Вардане и армянской войне» относится к наиболее известным памятникам древнеармянской литературы. Праздник Вардананц (наряду с Таргманчац — переводчиков) является одним из двух праздников армянской церкви, посвященных событиям национальной истории и открытых для более позднего переосмысления в духе секулярного национализма. Полководец Вардан Мамиконян

был признан святым мучеником, и с ним могли сравниваться военачальники более позднего времени — например, Липарит, воспетый Ованнесом Тлкуранци. Огромно было значение этого события для формирующегося секулярнопо самосознания в прошлом веке (достаточно вспомнить поэмы Рафаела Патканяна и Гевонда Алишана). Не забывала об Аварайрской битве и советская эпоха (роман Дереника Демирчяна «Вардананк»). Однако если для средневекового сознания Аварайрская битва — это прежде всего сражение истинно верующих с иноверцами (как подчеркивается, например, в литургии праздника Вардананц*), то новое и новейшее время видит в ней в первую очередь битву за родную землю, за культурную самобытность и просто за физическое выживание армянского народа**. Герой-идеалист Вардан Мамиконян и расчетливый себялюбец-предатель Васак Сюни превращаются в «вечных» протагонистов, присутствующих в каждую историческхю эпоху и даже в душе каждого армянина, а всякое новое противостояние более сильному врагу осмысливается как «новый Аварайр».

Прежде всего это относится к Сардарапатской битве с турками (май 1918 г.). Со времен юбилея этой битвы (1968 г.) параллель «Аварайр — Сардарапат» стала обычной в Советской Армении. Вот как говорил об этом поэт Наири Зарьян на открытии мемориала Сардарапатского сражения 25 мая 1968 года: «Историки сравнивают эту великую битву за существование (goyamart) со сражением при Аварайре, состоявшимся полторы тысячи лет назад. Однако с точки зрения нашего национального бытия Сардарапат явился еще более судьбоносным. Во времена Вардана не было угрозы физическому выживанию нашего народа.»Отметив различия, поэт, тем не менее, не отвергает самой параллели, и вот как он характеризует предводителя армянского ополчения Даниэля Пирумяна: «...этот карабахский паренек-патриот стал Варданом Мамиконяном нашей эпохи и еще ждет своего Егише». Примерно в то же время писатель Вардгес Петросян отмечает в

---

* История Аварайрской битвы с самого начала явно ориентирована на библейскую модель восстания Маккавеев; по свидетельству Егише, книга Маккавеев читалась в армянском войске перед началом сражения. См. Егише. О Вардане и армянской войне. Иерусалим, 1968, стр. 86 (на древнеарм. яз.), подробное исследование этой темы см. в R. W. Thomson, The Maccabees in Early Armenian Historiography — Journal of Theological Studies, n. s. 26 (1975): 329-341.

** Два последних мотива представлены, например, в юбилейной статье «1500 лет героической битвы Вардананц», опубликованной в иерусалимском армянском журнале «Сион» в 1951 году (стр. 58-62, на арм. яз.) Там же Аварайрская битва рассматривается как сражение Запада с Востоком и дуовного начала с материальным.

«Армянских эскизах», что оба сражения пришлись на один день — 25 мая.

Другая битва, являющаяся одной из потенциальных парадигм армянского существования, — это битва Ара и Шамирам. После упоминания у авторов V-VI вв. история армянского царя Ара и ассирийской царицы Шамирам, завоевательницы и соблазнительницы, становится актуальной лишь для авторов начала XX в., преломивших ее в духе символистской поэтики. Так, для Ваана Теряна Ара — воплощение верности и стойкости, а Шамирам символизирует агрессивное и соблазняющее «чуждое» начало: «не изменю своей Нвард, сколько бы ни колдовала ты, Шамирам».

Тематика войны и битвы оказывает влияние даже на культ «святых переводчиков» в его секулярной интерпретации. Так, в материалах, посвященных юбилею Месропа Маштоца (1962 год), постоянно встречается сравнение маштоцевского алфавита с войском, борющимся за национальное выживание. Так, в юбилейной статье Геворка Эмина «Арарат нашей письменности» прямо устанавливается связь между изобретением армянской письменности и Аварайрской битвой, иными словами — между традиционными национальными праздниками Вардананц и Таргманчац: «Когда в 451 году, всего лишь через 4о — 45 лет после изобретения алфавита, на Армению всей тяжестью навалилась Персия, пытаясь уничтожить ее веру и язык, впервые в истории на поле боя выступили и тридцать шесть храбрых букв, созданных Маштоцем...»

Возможно, представление о герое, гибнущем и все-таки побеждающем врага, генетически сводимо к мифологии смерти и воскресения (в легенде про Ара и Шамирам такая связь достаточно очевидна). Умирающий-воскресающий герой при этом мыслится в качестве жертвы: «он умрет как жертва, но ты не победишь его» — говорит Чаренц об Ара, обращаясь к Шамирам. Видимо, не случайно для теряновского цикла «Страна Наири» так характерен мотив распятия. Можно показать, что в зашифрованном виде этот мотив присутствует и в знаменитом стихотворении Чаренца «Видение смерти» (1920).

С другой стороны, основная мифологема еврейского сознания — «исход из Египта» — явно связана с тем же основным мифом. Египет — «место, расположенное низко», попросту говоря — Преисподняя. Туда «сходят» и оттуда «восходят». Вплоть до наших дней еврей, покидающий Эрец-Исраэль, называется на иврите «спускающимся», а прибывающий в нее — «восходящим». «Геула» — «искупление» имеет и коннотации «возрождения», с мессианским временем часто связывается мотив воскресения мертвых (ср. библейский образ сухих костей, одевающихся в плоть — Иезекииль, 37: 1 — 12). Таким образом, сходный исторический опыт оформляется в виде двух существенно различных мифологем, хотя скорее всего и имеющих общие корни.

4.

Сказанное выше не значит, что мотив битвы и войны не играет существенной роли для еврейского самосознания, а мотив изгнания и странничества — для армянского. Так, в Библии описаны многочисленные войны, наиболее знаменитые из которых — война Израиля с Амалеком в пустыне, войны Иисуса Навина за завоевание Эрец-Исраэль, войны Саула и Давида с филистимлянами (в особенности битва Давида с Голиафом).

Согласно Галахе, после входа в страну израильтяне обязаны поставить над собой царя, уничтожить Амалека и построить Храм. Одна из этих трех заповедей связана с войной.

Еврейская мысль обсуждает различные аспекты войн — добивать врага или не добивать, брать добычу или нет, даже регламентирует условия женитьбы на пленной. Однако в еврейской традиции мы не найдем ни одного праздника, посвященного военной победе (Ханука, вроде бы связанная с таким мотивом, на самом деле посвящена памяти чуда — масло в храмовом светильнике, рассчитанное на один день, горело восемь дней). В новейшее время во́йны Израиля иногда привязываются к каким-то библейским прототипам — например, в Шестидневной войне нетрудно увидеть битву Давида и Голиафа (ср. рассказ Эфраима Кишона «С Голиафом поступили непорядочно»). Тем не менее тема битвы никогда не игра́ла для еврейского сознания той роли, что для армянского.

Судя по всему, противоположная картина наблюдается с темой изгнанничества и оппозицией «Родина — чужбина». В еврейской Галахе выдержано четкое противопоставление «Святой Земли» — Эрец-Исраэль и «нечистой» чужбины. Например, за исключением специально оговоренных случаев, еврею запрещено покидать Эрец-Исраэль даже на время. В диаспоре по-другому отмечаются праздники, не действуют некоторые законы, связанные с сельским хозяйством. При этом существуют достаточно четкие критерии для определения границ «освященной Эрец-Исраэль». В новейшее время в сионистской и некоторых постсионистских идеологиях пребывание в диаспоре отождествляется с «галутом» — изгнанием (для традиционно-религиозного сознания понятие «галута», безусловно, шире), и «галутная психология» объявляется фундаментальным компонентом еврейской идентичности. Отсюда следует, что жители Эрец-Исраэль в каком-то смысле уже не совсем евреи (для такой крайней идеологии, как «ханаанская», совсем не евреи)*.

В традиционной армянской письменности можно найти четкое противопоставление «армянской» и «чужой» земли, например, в со-

* О «ханаанской» идеологии см., напр., James S. Diamond, Homeland or Holy Land? The «Canaanite» Critique of israel. Bloomington: Indiana University Press, 1986.

хранившемся у Павстоса Бузанда рассказе о поведении армянского царя Аршака Второго в шатре у пленившего его персидского царя Шапуха. Как только Аршак становился на землю, привезенную из Армении, он начинал вести себя гордо и даже заносчиво, как только сходил с нее — вновь приобретал смирение... Однако в целом для древней и средневековой армянской письменности прямое противопоставление Армении и «чужих краев» не характерно. В поэтическом фольклоре и литературных текстах позднего средневековья широко представлена тема «гариба» — изгнанника, однако в ней изгнанник понимается прежде всего как человек, оставивший родной очаг. Это может быть мужчина, покинувший семью в поисках заработка, может быть переселенец или даже беженец, но его горе не столько в том, что он покинул Армению, сколько в том, что просто оказался вдали от дома в чужом мире.

В новое время в армянской литературе тема Родины оказывается тесно связанной с темой домашнего очага, с микрокосмом конкретной географической местности (Лорийские горы — у Туманяна, Гандза — у Теряна, разрушенный родной дом у Сиаманто...). В еврейской культуре такая связь была практически невозможной, так как до самого недавнего времени родной очаг чаще всего находился за пределами Родины... Поэтом «еврейского» типа в армянской литературе в этом смысле оказывается разве что Гевонд Алишан, посвящавший стихи Армении и никогда там не бывавший.

В последние несколько десятилетий (в первую очередь — в Советской Армении) средневековые стихи о «гарибах» переосмысляются в духе противопоставления «Родина — диаспора». В особенности это относится к стихотворению «Крунк» («Журавль»), объявленному «неофициальным гимном армянских изгнанников». Символ журавля и название «Крунк» становятся особенно популярны у организаций, занимающихся связями с диаспорой — например, издаваемая для соотечественников за рубежом газета «Айреники дзайн» рядом с заголовком несла изображение журавля на фоне пирамид и Эйфелевой башни...

5.

Огромное значение для обоих народов в XX в. приобрела тема Катастрофы и возрождения. В еврейской истории сразу после Катастрофы возникло государство Израиль, в армянской — независимая республика, а затем Советская Армения, где в условиях pax Sovetica появилась возможность относительно «нормального» развития нации. Темы как самой Катастрофы (геноцида), так и того, что за ней последовало, достаточно сходным образом преломляются в сознании обоих

народов. Тем не менее в этом смысле имеются и существенные различия.

Начнем с того, что для армян геноцид происходит на Родине, а для евреев — в диаспоре. Беженцы из Сасуна и Тарона, поселившиеся на склонах Арагаца, называют покинутые места просто страна (Ergir). Стихи Сиаманто о разрушенном родном доме в еврейской литературе лучше всего соотносить не столько со стихами Ури-Цви Гринберга, сходными по поэтике и тоже посвященными Катастрофе, сколько с библейскими текстами — плачем Иеремии о разрушенном Иерусалиме и псалмами, связанными с Вавилонским изгнанием.

Для еврейского сознания геноцид является символом конца диаспоры, невозможности больше жить за пределами родной страны, тогда как армянская диаспора в значительной степени порождена именно геноцидом. Из несчастий такого масштаба обычно делаются какие-то выводы о том, как народу жить дальше.

Для части армянской диаспоры таким выводом была необходимость вооруженной борьбы с врагом. Аналогичным образом смотрят на вещи и национальные движения в самой Армении, начиная с конца восьмидесятых годов (ср. лозунг, который автор этих строк видел весной 1990 года возле памятника жертвам геноцида на холме Цицернакаберд: «Траур бесконечен, если нет борьбы»).

У евреев «уроки Катастрофы» настолько многообразны, что на практически каждый сделанный вывод можно найти прямо противоположный*. Из Катастрофы могут быть сделаны (и делались) выводы, что евреям нужно создать свое государство, чтобы иметь возможность защититься; вернуться к иудейской вере, наказанием за отход от которой послужила Катастрофа; полностью отказаться от религии, если Бог такое допускает; окончательно ассимилироваться, так как сделанное Гитлером является «слишком дорогой платой» за самобытность; вернуться к национальной культуре, ибо Катастрофа показала, чего стоит ассимиляция; поступать с другими народами по самым высоким правовым и гуманистическим стандартам, помня то, что сделали нам; не обращать внимания на эти стандарты и думать только о своей безопасности, чтобы нам этого не сделали повторно...

С темой Катастрофы (геноцида) и у армян, и у евреев органически связана тема непосредственно следующего за ней национального возрождения, выступающего в роли своеобразного «противовеса». У армян (как в самой Армении, так и в части диаспоры) в качестве такого

---

* Современный израильский писатель А.-Б. Иегошуа назвал посвященную этому статью «Катастрофа — пересечение дорог»; см. А.-Б. Иегошуа, В защиту нормальности. — Иерусалим — Тель-Авив: Шокен, 1984, стр. 9 — 26 (на иврите).

«противовеса» — национального очага — могла выступать Армянская ССР, у евреев — государство Израиль. При этом создаваемая реальность могла восприниматься либо в качестве чего-то принципиально нового, не связанного с предшествующим историческим опытом и выступающего его прямым отрицанием, либо, наоборот, в качестве прямого продолжения и увенчания этого опыта, осуществления вековых чаяний.

Трактовка советского периода армянской истории как чего-то принципиально нового была характерна в Армении для десятилетий, предшествовавших Второй мировой войне. Одновременно армянская история прежних времен воспринималась в качестве статичной и лишенной ценности. Этот подход преобладал даже в таком массовом жанре, как туристские путеводители. Приведем типичный отрывок:

«Годы, века; тысячелетия, как туман непогоды, неслись над страной, по которой текли воды Занги, но не менялся ее облик. Тысячелетиями пел одну и ту же песню пахарь, прокладывая новую борозду весной на медлительных — как то время — буйволах, впряженных в тяжелую — как та жизнь — соху. Тысячелетиями отзванивали колокола свой благовест над миром нищеты и невежества. Тысячелетиями рождались и умирали люди и только и было, что записывать летописцу скорбных дней, что даты кровавых празднеств, побоищ властителей земли и людей.

Текла Занга, несла с каменистых гор в пустыню свои полные незримой силы воды, а жизнь стояла — менялись лишь дни и люди. Армянские цари сменялись греческими и парфянскими наместниками. Погромы арабских и тюркских завоевателей заставили забыть распри армянских феодалов.

Ничто не менялось.

Так было.

Но далеко не так сейчас.» (Гр. Чахирьян, На автомобиле по Армении. — Эривань: Госиздат, 1935, стр. 33 — 34.)

Пафосом отрицания ценности пройденного исторического пути пронизана и написанная примерно в те же годы поэма Егише Чаренца «На перепутьях истории». Вот, например, как Чаренц характеризует армянское прошлое:

...Путь наш был всегда темным,
Ненадежным и бесславным,
Простирался без огня и без улыбки,
Вечно освещенный чужим блеском (...)...
Когда-то нам рассказали
О наших славных предках,
Но в отдаленье дней я вижу только

Рабство, пепел, забвение и смерть
И бессмысленное движение по земле...
(*подстрочный перевод*)*

В движении к «светлому будущему» память о такой истории может только мешать:

И вот мы стоим лицом к будущему,
Удивительно легкие, удивительно безликие,
Голые и лишенные прошлого...
Наверное, это мы тот упрямый верблюд,
Что, вопреки Иисусовой притче,
Даже через игольное ушко
Должен войти в непорочный рай будущего...
Это мы, наверное, тот богач,
Богатый одной своей прошлой нищетой,
Что унаследует потерю (прошедших) веков...
*(перевод подстрочный)***

Еще в начале двадцатых годов в романе «Страна Наири» Егише Чаренц противопоставлял реальную, осязаемую, пусть даже и будничную Армению подернутой национально-романтическим ореолом, расплывчатой и непостижимой «Наири»:

«Может быть, правда, что Наири — мираж, фикция, миф, бред мозга, болезнь сердца... А вместо этого есть страна, что называется Армения, и в этой древней стране жили вчера и живут сегодня очень обычные люди с обычными человеческими качествами. И — больше ничего. Никакой «страны Наири», но только люди, живущие сегодня в том уголке мира, что называется Арменией, которая стала сегодня Советской Социалистической Республикой, а до 1917 года была просто отсталой окраиной Российской Империи...»***

Установка на создание чего-то принципиально нового, являющегося антитезой прежней истории, традиционно сильна и в сионизме. С начала века в сионистском движении культивируется образ «нового еврея», по ряду черт характера противостоящего традиционному еврею диаспоры. В сороковые — пятидесятые годы в Израиле сильно

---

* Егише Чаренц. Полн. собр. соч., т. 4. — Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1968, стр. 203 (на арм. яз.).

** Указ. соч., стр. 213.

*** Егише Чаренц. Полн. собр. соч., т. 5. — Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1966, стр. 13 (на арм. яз.)

было «ханаанское» литературно-общественное движение, считавшее израильтян — «иврим» совершенно новым народом, не имеющим ничего общего с еврейством стран рассеяния. В отрицании «галутного» прошлого «ханаанейцы» доходили порой до откровенно антисемитских инвектив. Но и в сегодняшнем Израиле распространено противопоставление «израильского» самосознания, мыслимого как национальное, «еврейскому», точнее — «иудейскому», т.е. религиозно-общинному (эта оппозиция характерна, например, для такого публициста, как Ури Авнери).

В еврейской литературе и публицистике можно найти мотивы, удивительным образом напоминающие аналогичные явления у армян. Так, герой рассказа Хаима Хазаза «Проповедь», написанного еще до образования государства, высказывает желание обратиться к школьникам со словами: «Ребята! У нас нет истории. Со времени изгнания из нашей страны мы народ без истории. Вы свободны. Идите играть в футбол...»*, что перекликается с уже цитированной поэмой Чаренца. Точно так же через шестьдесят лет после появления романа Чаренца «Страна Наири», и, естественно, совершенно независимым образом, известный израильский писатель Амос Оз противопоставлял скромную реальность национально-романтической мечте: «Не «прекрасная земля» и не «воссоединенный град», но государство Израиль. Не «воскрешение Маккавеев», но средиземноморский народ, сердечный и темпераментный, ценой огромных страданий постепенно освобождающийся от кошмаров, преследовавших его в течение веков, и от древней и новой мании величия...»**

Но в Советской Армении и в Израиле существовала так же другая установка — считать новую эпоху органическим продолжением прежней истории, осуществлением чаяний прошлого.

Еще в 20-е годы раввин А.-И. Кук, вопреки взгляду, господствовавшему среди религиозных евреев, признал сионистское движение «началом Искупления». Эта позиция постепенно стало официальной в национально-религиозных кругах израильского общества, но и такой секулярный деятель, как Давид Бен-Гурион, рассматривал сионизм в качестве осуществления «геулы» мирскими средствами.

Восприятие современного Израиля в качестве органического звена еврейской истории особенно усилилось после Шестидневной войны, когда возник «культ Иерусалима» — объединенного и освобожденного. Символами этого культа стали «день Иерусалима», иеруса-

---

* Хаим Хазаз, Кипящие камни. — Тель-Авив: «Ам овед», 1976, стр. 224 (на иврите).

** Амос Оз, Здесь и там в Земле Израиля. — Тель-Авив: «Ам овед», 1988, стр. 190 (на иврите).

лимские марши и песня Наоми Шемер «Золотой Иерусалим», насыщенная скрытыми цитатами из Библии, талмудических источников и средневековой еврейской поэзии.

Нужно отметить, что такая реинтерпретация израильского опыта вызывает противодействие значительной части интеллигенции, по-прежнему ориентированной на классические сионистские («антитрадиционные») и «ханаанейские» модели.

В Советской Армении переход к новому взгляду на вещи намечается в 40-е годы, в связи с началом интеграции традиционных национальных мотивов в советскую идеологию. Советская эпоха рассматривается теперь как осуществление вековых стремлений и идеалов, «мессианское время». Такой взгляд характерен был и для части армянской диаспоры. Но если для зарубежных армян особенную важность представлял аспект безопасности и относительной культурной самостоятельности «нынешней Армении» (характерное эвфемистическое обозначение), то советские авторы, прежде всего близкие к партийным кругам, не жалели красок, описывая процветание своего народа в «самом передовом обществе». Сейчас трудно оценить, насколько искренними были такие характеристики, в какой степени они являлись необходимым компромиссом между официальной идеологией и собственным взглядом на вещи, однако неадекватность даже самой умеренной «советской» ориентации явственно проявилась при развертывании карабахского движения.

На рубеже 80 — 90-х гг. в Армении шла полемика между сторонниками дальнейшей зависимости от северного соседа, видевшими в сохранении СССР гарантию относительной безопасности армян, и кругами, выступавшими за «опору на свои силы».

В конечном счете Армения пустилась в самостоятельное плавание по бурному морю истории, однако новая независимость существует, видимо, еще слишком недавно и положение в стране слишком проблематично, чтобы можно было говорить об осмыслении нового этапа армянской истории в нарративных схемах национального самосознания.

Иерусалим

Ион ДЕГЕН

ЗВЕНО ЦЕПИ

Казалось, события не имели точек соприкосновения, и, тем не менее, они оказались связаны, скованы между собой.

Утром, в первую пятницу октября 1973 года, мне позвонил врач, только что приехавший в Киев. Я руководил его докторской диссертацией. И хотел помочь ему с гостиницей. Обычно с этим у меня не было проблем — несколько директоров были моими благодарными пациентами. Я позвонил одному из них, но не успел даже высказать просьбу, как услышал: «Если речь идет о номере, даже не заикайтесь. Тысячу извинений, но не обижайтесь». Удивленный и раздосадованный, я позвонил в гостиницу на левом берегу Днепра, у черта на куличиках, но и ее директор не дал мне договорить: «Нет и нет! Когда вы кончаете работу? Я буду ждать вас у поликлинники».

Я ничего не понимал. Диссертанта я пригласил к себе домой к двум часам дня. А в час дня встретился с директором гостиницы.

— Ради Бога не сердитесь на меня, но я не мог объяснить по телефону. Гостиница закрыта, выселили всех постояльцев. У нас карантин. Из Дамаска срочно эвакуируют семьи наших военнослужащих. Вы понимаете?

Я понял: война с Израилем. Но когда? Если такая спешка, она может быть и завтра. А знают ли там?

Назавтра, в субботу, был Йом-Кипур — Судный день, самый святой день для евреев. Тогда, конечно, я не имел представления о еврейских традициях, праздниках, памятных днях и тем более о том, как их следует отмечать. Знал только, что в Судный день надо соблюдать пост, и ничего не ел, не пил. А вечером мы узнали, что Египет и Сирия напали на Израиль. Война оказалась для Израиля полной неожиданностью. А ведь я знал о ней еще накануне и, вероятно, мог предупредить... Но как? Голод того Йом-Кипура обрел для меня особый смысл — как наказание за то, что не сумел помочь моему народу.

На следующий день сын пришел домой взбешенный, рассказал, что на площади Ленинского комсомола у газетных стендов радостно читают вслух сводки о поражении израильтян. В одном из бункеров взяли в плен израильского офицера. Кто-то сказал: «Я бы с него живьем шкуру содрал!» И все одобрили. А сын должен был смолчать, вместо того, чтобы набить морду такому добровольцу-шкуродеру. Я понимал гнев сына. Но я-то был лишен гораздо большего — возможности помочь раненым израильским солдатам.

В понедельник до меня дошли слухи, что из аэропорта Борисполь каждые полчаса в Сирию отправляются огромные «Ан-22», груженные оружием и боеприпасами. Поговаривали, что там же, в Борисполе, советские «добровольцы» ждут команды отправиться на войну с Израилем. Советские летчики и ракетчики уже воевали против Израиля в Египте, я знал, что их трупы привозили на родину, и жалел, что вместе с ними в цинковых гробах не привозили тех, кто отдал им приказ воевать за арабов.

И вот именно в те дни главный хирург Армении профессор Рубен Лазаревич Паронян пригласил меня в Ереван — проконсультировать шестнадцатилетнюю девушку, которой предстояла высокая ампутация бедра.

Мы с женой давно хотели побывать в Армении. Да и бывшие мои больные, которых я когда-то оперировал, не раз приглашали в гости. Короче говоря, мы вылетели в Ереван: я, жена, сын.

...Не помню, присутствовала на консультации мать девушки. Но отец! С каким отчаянием, болью, тревогой смотрел он на врачей!

Искуснейший мастер-ювелир, он родился в Каире. Там и жил, пока не решил репатриироваться. Тяжело ему давалась жизнь в советской Армении. В союз художников его не принимали, считая ремесленником; нормально работать ему тоже не давали, — ведь ювелиру нужно золото, серебро, драгоценные камни. И все-таки он был таким мастером, что стал ювелиром католикоса Вазгена I. Чего еще он мог желать? И вдруг такое горе: у любимой дочери-красавщы перелом костей голени без всякой травмы. Рентгенограмма показала, что кость истончила опухоль, о которой девушка даже не подозревала. Рентгенолог поставил диагноз: «саркома Юинга». Одна из самых злокачественных опухолей, смертный приговор. Даже после высокой ампутации бедра продолжительность жизни, согласно статистике, не более полутора лет.

Обо всем этом сказали отцу. Снимки смотрели многие врачи, но даже если кто-то сомневался в точности страшного диагноза, он не решался вслух высказать сомнения, чтобы не брать на себя ответственность за жизнь больной.

На ногу наложили гипсовую повязку. Биопсию не делали. Профессор Паронян объяснил это опасением мгновенного распространения опухоли, если к ней прикасаются, а не удаляют вместе с конечностью.

Я внимательно обследовал девушку. Долго изучал снимки, благодаря судьбу за то, что одним из моих учителей был выдающийся рентгенолог Юда Нохемович Мительман. Как признателен я был ему в те минуты! Коллегам, присутствовавшим на консультации, я сказал всего одно слово: «Остеокластеобластома». А отца девушки спросил:

— Вы верующий человек?

— Конечно.

— Тогда поставьте свечу в благодарность Богу за этот перелом. В ортопедии есть такой термин — фрактура медиката, лечащий перелом. У вашей дочери доброкачественная опухоль. Вполне вероятно, что к тому времени, когда срастется кость, опухоль исчезнет или значительно уменьшится, так что, возможно, даже не понадобится операция.

Отец рухнул на колени, пытался поцеловать мне руку. Слезы катились по его щекам.

— Ион Лазаревич, вы уверены? — спросил меня профессор Паронян.

— Абсолютно.

Сегодня, двадцать два года спустя, у меня есть основания подтвердить свою уверенность.

На этом деловая часть моей поездки завершилась и началось знакомство с Арменией. Мы много гуляли по Еревану; нас приятно удивляло радушие ереванцев, только однажды мою жену отчитала продавщица в ларьке.

— Почему ты говоришь по-русски? Армянка, а стесняешься своего языка.

— Я не армянка, — ответила жена.

— Не армянка? А кто же ты?!

— Я еврейка.

— Еврейка? Прости меня и будь здорова. И пусть Господь поможет твоему народу.

Услышать такое во время войны с Израилем! В Советском Союзе! После Киева!

— Вот где надо жить, — заметила жена, все еще не соглашавшаяся со мной и сыном, решившим, что надо уезжать в Израиль.

Огромное впечатление произвел на нас Матенадаран. Не только сама базальтовая громада здания, прекрасные скульптуры армянских мыслителей, памятник создателю армянского алфавита Месропу Маштоцу, но сам дивный музей книги. Рядом с первой армянской Библией древние свитки Торы. Увы, мы не могли прочитать ни слова, но что-то торжественное и щемящее наполняло душу при виде этих древних квадратных букв. Мы с сыном сознавали себя частью Израиля. Думаю, что моя жена тоже была близка к такому решению.

В воскресенье мы поехали в Эчмиадзин. Несметное количестве людей стояло от ворот резиденции католикоса до входа в кафедральный собор, где должно было пройти богослужение. Для нас нашли места во втором или третьем ряду. Все ждали выхода католикоса. Точно в полдень он неспешно направился в храм. Среднего роста плотный мужчина лет шестидесяти. Черная ряса. Черный остроконечный капюшон. Большой крест на груди. Интеллигентное лицо. И какая-

то печать исключительности, не думаю, что она была связана с его саном, — это лицо запомнилось бы даже в толпе. Поравнявшись с нами, он на мгновенье встретился со мною взглядом — и улыбнулся. Или показалось? Возможно. Но вскоре выяснилось, что не показалось.

Ювелир католикоса пользовался его особым расположением, которое еще больше укрепилось после поездки Вазгена I в США по приглашению армянской диаспоры. А незадолго до того некто предложил ювелиру купить у него для католикоса браслет за тридцать пять тысяч рублей (напомню, что дело было до 1961 года, и деньги тогда были дорогими). Ювелир, не торгуясь, купил украшение, хотя сам золотой браслет,по его словам, никакой ценности не имел, зато украшавший его рубин был изумительной красоты, поистине бесценным. Мастер долго думал, что можно сделать, имея такой сказочный рубин. И сделал перстень. Католикос носил его на большом пальце правой руки. Крылья стилизованного армянского орла — только прямые линии — несли на себе камень; противоположную сторону перстня украшало изображение эчмиадзинского храма, вырезанного так точно и искусно, что в сильную лупу можно было даже разглядеть каменную кладку. Увидев перстень, американские армяне-богачи сразу поняли, чья это работа. Они стали просить католикоса продать им перстень за любую цену. «Допустим, три миллиона долларов», — как бы про себя тихо сказал католикос. «Идет!» — тотчас согласился один из армян. Тогда Вазген снял перстень и спрятал его в потайной карманчик брюк и больше в Америке его не доставал. А, вернувшись в Армению, рассказал об этом ювелиру и поцеловал его.

На следующий день ювелир сообщил нам, что мы приглашены к католикосу. Вазген I ценил своего «Бенвенутто Челлини» и, вероятно, удовлетворил его просьбу — пригласить семью врача, спасшего дочь от ампутации. Вместе с нами была приглашена супруга Рубена Пароняна Рипсиме — профессор Ереванского театрально-художественного института, скульптор и керамист. Есть известный анекдот, кто как приходит в гости: англичанин — с бутылкой виски, француз — с шампанским, еврей — с двоюродным братом. Но Рипсиме побила рекорд, в гости к католикосу она привела своих студентов, восемь человек!

В Эчмиадзин мы приехали на микроавтобусе. Неожиданности начались еще до входа в резиденцию. На террасе в покойном садовом кресле расположился дородный иерарх — он оказался патриархом Иерусалимским. Можно представить себе мое изумление, когда Рипсиме нас познакомила.

— Расскажите об Израиле, пожалуйста.

Патриарх сцепил кисти рук на округлом животе, вращая большие пальцы вокруг друг друга.

— Что же вам рассказать? Страна как страна. Такая же, как Армения — камень и солнце.

— А как вам живется там?

Патриарх улыбнулся:

— Как у Христа за пазухой.

Из двери вышел молодой священник и пригласил нас в покои. Вазген, видимо, только что завершил утреннюю трапезу. Еще не убрали тарелку, к которой присоседилась тарелочка в виде полумесяца, никогда не видел такие. Католикос приветлво поздоровался со мной.

— Позавчера я вас сразу узнал. От всей души благодарю вас и благословляю — вы совершили богоугодное дело. Буду рад, если собранные здесь коллекции доставят вам радость. Они принадлежат армянской церкви, а, значит, армянскому народу.

Он сказал еще несколько фраз, которые перевела Рипсиме. К сожалению, католикос недолго был нашим гидом, предоставив право продолжить экскурсию Рипсиме — она, как выяснилось, была здесь своим человеком.

После экскурсии мы заехали на рынок, купили несколько бутылок домашнего вина, зелень, лепешки, фрукты, овощи. Немолодая крестьянка, услышав, что мы едем в Ереван, попросила взять и ее — это, мол, по пути. Мы подвезли ее прямо к дому. Попросив нас подождать несколько минут, она вышла, неся целую голову домашнего сыра: подарок гостям Армении, гостям католикоса.

В уютном месте, в нескольких метрах от дороги мы расположились на пикник. Рипсиме ловко мастерила рюмки из огуречных половинок. Увы, запах огурцов заглушал букет домашнего вина, но мне была оказана честь пить прямо из бутылки. Один студент произнес тост — длинный, цветистый, приветствовавший гостей с Украины. Когда студент поднял пологурца с вином, Рипсиме улыбнулась:

— Наши гости действительно из Киева, но они не украинцы, а евреи.

Тогда встал другой студент.

— Все, что сказал мой друг Ашот, он сказал искренне. Но он сказал бы это по-другому, если бы знал, что вы евреи. Сейчас народ Израиля защищает свою родину. У армян и евреев общая судьба, наши народы пережили ужас геноцида, оба народа рассеяны по всему миру. Я, как и Ашот, желаю всем вам счастья, но предлагаю выпить за победу израильтян, за процветание Израиля и благополучие еврейского народа.

Мне пришлось выпить бутылку до дна, чтобы скрыть слезы. Услышать такое в Советском Союзе! Да еще в присутствии Рипсиме... ведь она была не только преподавателем, но и секретарем партийной организации института. Впрочем, мы еще не раз удивлялись на этого необычного парторга. Например, когда мы поехали в Аштарак. У меня буквально перехватило дыхание при виде храма Кармравор — небольшой церковки VII в., гениально вписанной в ландшафт. Разыскали

старика-сторожа с лицом морщинистым, иссохшим, как камни, разбросанные вокруг. Он долго открывал заржавевший замок. Кажется, у него же мы купили тоненькие восковые свечки.

— Если кто-то не верит в Бога, ну что ж, — сказала Рипсиме, — можно поставить свечу в память о зодчем, воздвигшем это чудо.

А во время поездки в очаровавший нас Дилижан мы выкроили несколько часов, чтобы увидеть Севан. Был прохладный ветреный день. Мы проголодались и зашли в пустой ресторан на берегу. За мраморной стойкой бара буфетчик и официант играли в нарды. Мы заказали форель, знаменитую севанскую форель.

— Форель? — дуэтом изумились буфетчик и официант. — О какой форели вы говорите? Есть только треска мороженая.

— И вонючая, — добавил официант, чтобы окончательно испортить нам настроение.

Печальной была та поездка на Севан, да и сам вид мелеющего, будто умирающего озера. И, конечно, снова зашел разговор о многострадальной истории армян. Меня уже не удивляло, что в доме врача, архитектора, художника, учителя мы видели трехтомную «Историю Армении». И даже в квартире рабочего. К нему мы попали случайно. Узнав, что мы в Ереване и остановились в гостинице «Ани», к нам пришел один известный спортсмен, мой старый пациент, и пригласил в гости — причем не в ресторан, а в дом своих родителей, так что отказаться было нельзя.

Двухкомнатная квартира в заводском доме. Во всю длину комнаты — уставленный яствами и напитками стол, за которым собралось человек двадцать гостей. Напротив нас — симпатичный директор завода со своей миловидной женой. Он — сосед рабочего. На книжной полке несколько книг, и среди них три тома «Истории Армении», о чем я не преминул сказать жене и сыну. Услышав, о чем я говорю, директор удивился:

— А как же иначе? Народ не может существовать, не зная своей истории.

Конечно, он был прав. Но историю моего народа я узнал, когда мне уже минуло тридцать лет, да и то подпольно.

А с мангала на балконе то и дело приносили шашлыки и кебаб потрясающей вкусноты, жареная баранина, да еще с красным маринованным перцем была просто божественной. Вина одно другого лучше. Дивные коньяки. Но главное — радушие большой дружной семьи, частью которой мы почувствовали себя с первой же минуты. Тосты сменялись рассказами, рассказы — песнями. По поводу одной мы даже заспорили. На одной израильской пластинке была записана песня «Финджан», слов на иврите я не понимал, но мелодия мне очень понравилась. И вдруг эту песню, конечно по-армянски, запели в доме рабочего. Я удивился, откуда в Армении знают израильскую песню.

— Да нет, это армянская песня, — сказал директор.

Я возразил. Директор не стал спорить, но заметил, что у евреев и армян много общих имен, почему же не быть и общим песням.

— Поэтому, — предложил он, подняв бокал, — давайте выпьем за дружбу евреев и армян. Кстати, вы знаете, что израильтяне форсировали Суэцкий канал и гонят египтян к Каиру?

Нет, я не знал. В газетах об этом не писали, по радио не сообщали. Мы чокнулись и выпили. Да ради одного этого стоило прийти в этот дом!

До этой поездки мы плохо представляли себе армянскую архитектуру, еще хуже — живопиоь. Ну кого мы знали из художников, кроме Сарьяна? Живопись Армении нам открыло собрание нашего друга Арцвина Григоряна, главного архитектора Армении. Мы не могли оторваться от трех полотен армянского художника, жившего в Париже (увы, не могу вспомнить его имя). На следующий день мы видели его работы — всего две! — в государственной галерее. Арцвин познакомил нас еще с двумя Григорянами. В тесной квартирке одного из них, служившей и жильем, и студией, все пространство было занято холстами, подрамниками, картинами (да какими!) — этот Григорян официально был не признан, его поддерживали лишь истинные ценители живописи. Второму Григоряну повезло больше. Среди его работ мне больше всего запомнились те, что были посвящены геноциду 1915 года. Глядя на них, мы с женой вспоминали графические листы Зиновия Толкачева, посвященные Освенциму — то же ощущение боли, ужаса, безысходности и жажды возмездия. На рисунки Толкачева мы смотрели тайком — их не выставляли, очевидно, боясь, что они напомнят людям об Освенциме, об истреблении евреев. Черные, зеленые, синие тона. Впечатление такое, словно ты сам — очевидец резни, жертва...

И еще раз ощущение причастности к судьбе армян я испытал, когда смотрел на памятник жертвам геноцида. Высокая стелла, рассеченная до самого верха. Кругом расположены склонившиеся к центру пилоны, в центре — пламя вечного огня. Мне даже показалось, что я стою у несуществующего мемориала жертвам Бабьего Яра. В те горькие минуты во мне клокотала такая же ярость, как во время боя, я был одновременно евреем и армянином.

Год спустя после поездки в Армению я получил еще один подарок. В Киев приехала Рипсиме и привезла подарок ювелира — массивный золотой перстень, большой золотистый камень флавит казался расплавленным сегментом кольца, изысканно украшенного армянским узором, напомнившем мне искуснейшую вязь хачкаров. Обычно я не ношу даже обручального кольца, но в редкие, самые торжественные дни надеваю перстень — он как звено, соединившее для меня в одну цепь войну Судного дня и Армению, геноцид армян и евреев, мою семью с моими армянскими друзьями.

1995

Николай ЭСТИС

«ГЕНЕРАЛ»

Странные штуки порой придумывает жизнь, чтобы поддержать нас в трудном положении, в котором мы по ее же воле оказались.

Проходя армейскую службу в Армении, я был вознагражден неожиданным подарком — встречей с Мартиросом Сарьяном. Год был, кажется, 1959-й, не могу припомнить, как я попал в двухэтажный, красного кирпича дом с палисадником на тихой ереванской улице. Рекомендовал меня кто-то или я пришел сам по себе?.. Да, кто-то устраивал эту встречу, даже предупредил, что хозяин нездоров и встреча может не состояться. Но все же меня пригласили в дом, провели на веранду с плетеными стульями и креслами. И Сарьян вышел ко мне, был приветлив и добр.

Конечно, я представлял его по фотографиям и автопортретам, но в жизни он оказался похож на пророка — с большой головой, с курчавой проволокой волос. Сперва я очень волновался, отвечая на его вопросы: как в армии, не сажают ли в карцер, кто меня ждет дома? Узнав, что я женат, он сказал: «Вы женились по любви и в восемнадцать лет, а она скучает, но на свидания не приезжает.» Мартирос Сергеевич все точно угадал.

Я принес с собой наброски. Сарьян листал блокноты и все расспрашивал о службе. Разглядывая мои рисунки, он каждый раз трогал пальцем нарисованный пистолет и бормотал: «Я, слава Богу, в армии не служил, а теперь уже поздно — восемьдесять лет. И вообще я за мир и дружбу».

Проводив меня до двери, он пригласил зайти к нему в следующее воскресенье. Потом еще раз, еще... Я приходил. Беседовали мы обычно на веранде. Сарьянговорил много, шутил живо и очень тонко, так что я не всегда различал грань между шутливым и серьезным. А в глубине комнат чувствовалась жизнь дома — сложная, людная, беспокойная; доносились голоса, детский плач, быстрые шаги... Сарьян говорил: «Не обращайте внимания!» И мы продолжали беседу. Однажды на террасу вышла огромная овчарка, приблизилась ко мне, причем наши головы оказались на одном уровне, и несколько раз лизнула меня. Сарьян пытался прогнать ее, потом сказал: «Не бойтесь — он хороший человек, воспитанный». И «человек» завилял хвостищем, растроганный и польщенный.

Очевидно, Сарьяну постоянно приходилось хлопотать за других. Полагая, что я также пришел за помощью, он при первой же встрече коснулся этой темы, но так тонко, что я сперва не понял, —

ведь я пришел сказать художнику, как люблю его творчество, хотя и постеснялся признаться в этом. А в его словах все яснее звучал вопрос: «Чем я могу вам помочь?»

Однажды Мартирос Сергеевич прямо спросил меня: «Наверное, трудно вам в армии? Вы же художник. Я вот в Верховном Совете сижу рядом с генералом, он все пытается со мной разговаривать, но говорить с ним не о чем. Зато теперь поговорю с ним о вас — попрошу, и вас освободят». «Что вы,спасибо! Но мне ничего не надо!» — Я даже покраснел от стыда, я ведь действительно ни о чем не хотел просить Сарьяна.

— Но почему? Не знаю, отчего сейчас такие строгости... Вот вы на танцы ходите?

— Нет.

— А почему вас не пускают?

— Да я даже не слышал про танцы.

— Ну, как же, — удивился он. — Вот у меня товарищ был в Ростове, Митя Греков[*], тоже был военный, но всегда на танцы ходил, за девушками ухаживал, жил довольно свободно...

В другой раз Мартирос Сергеевич принес необычный флакончик и сказал, что это льняное масло для живописи, подарок мне. Стал объяснять, какое это прекрасное масло, из Греции, настоящее, выдержанное. Я, конечно, и от масла отказался, да и не мог взять его с собой, — какая уж в казарме живопись! Вообще от всего, что Сарьян предлагал мне, я отказывался с каким-то мальчишеским упрямством. Даже когда он хотел подарить мне свои этюды. «А что, это не плохой этюд, совсем не плохой!» — уговаривал меня Мартирос Сергеевич. Но один подарок от Сарьяна я все-таки получил — преподанный мне урок мудрой деликатности.

Кажется, это была последняя наша встреча. А, возможно, она и стала последней из-за того случая. Вначале все шло, как обычно: мы сидели на веранде, беседовали, день был мягкий, теплый, я совсем расслабился, расстегнул гимнастерку, куда-то забросил ремень, панама тоже валялась в стороне. И вот, расположившись совсем уж по-граждански, вдруг вижу подъехавший к воротам кортеж черных машин, из одной выходят полковники и бросаются к другой, дверцы открывать, а уж из той появляется военный в таких погонах, какие даже служа в армии, мы видели только по телевизору. И все эти чины направляются к Сарьяну, а он радушно встает им навстречу.

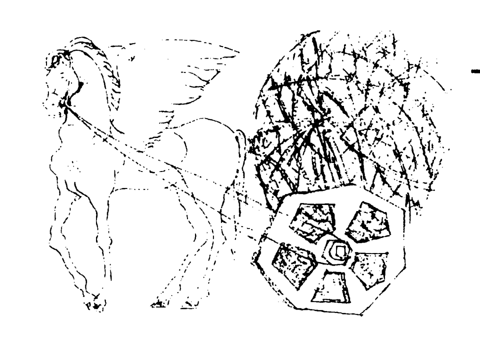
---

[*] ГРЕКОВ Митрофан Борисович (1882-1934) — художник, основоположник советской батальной живописи.

Лихорадочно соображаю, искать мне ремень и панаму, застегивать гимнастерку на все пуговицы? Но, в конце концов, я ведь гость Сарьяна, почему я должен стоять во фрунт? А с другой стороны предстать в таком расхристанном виде перед высшими военными чинами... В общем, задачка! Пока мои мысли метались в поисках решения, гости приблизились, и я разглядел главного. Это был лысый плотный человек в маршальском мундире — видимо, Баграмян. Сарьян долго обнимался, целовался с ним, они хлопали друг друга по плечу. Вся свита стеной стояла за спиной маршала, а за Сарьяном только один я — такая вышла диспозиция. Когда хозяин и гость кончили обниматься, Мартирос Сергеевич нежно взял старого товарища под руку и подвел ко мне. И сказал удивительную фразу, запомнившуюся мне на всю жизнь: «А теперь, дорогой, познакомься с Николаем, он тоже генерал». И маршал послушно протянул мне руку, приветливо и церемонно, а вслед за ним все свитские подходили и по очереди пожимали мою руку. А я, обалдевший и растерянный, думал, что Сарьян и в этой нелепой, комичной ситуации остался верен себе, явив мудрость и великодушие, найдя слово, которое возвысило меня и как художника, и как солдата. Да, сказанное им прозвучало именно так, что все поняли: каждый гость Сарьяна — генерал, даже если на нем солдатская гимнастерка с расстегнутым воротом.

Потом все расселись, я выдержал необходимые по правилам приличия несколько минут и попрощался с Мартиросом Сергеевичем. Навсегда. Закончилась ли моя служба, или меня перевели в другой гарнизон — не помню. Но до сих пор благодарен судьбе за удивительные встречи с великим человеком, который с улыбкой, так легко произвел меня в генералы.

ПРАЗДНИК
ПЕРЕВОДЧИКА



Дилан Томас (1914-1953)

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Эту сказку зимы
Снежный сумрак слепой над озерной волной
С дальней фермы влечет сквозь поля на плаву и холмы,
Сквозь ладони ковшом, — и скот племенной
Дышит в чуткий холст средь безветренной тьмы.

Звезды холодом жгут,
Пахнет сено в снегу, вещий сыч вопит
Вдали, меж загонов, и мерзлый приют —
Фермерский дом белым дымом овечьим набит;
Нахлобучен клобук, — сказка сложена тут.

Мир состарился, и на звезде
Веры, чистой как хлеб, как складчатый снег,
Свитки пламени, что полыхали везде,
В голове и в сердце его, развернул человек
Истерзанный, сирый, на ферме и каждой гряде

Полей. И жар камелька
На его островке, средь пурги, в снеговом серебре,
И кудель холмов, и насесты, что дремлют пока
Сквозь дворы не прочешет свой вопль петух на заре,
И рассветный люд побредет, оступаясь слегка

Со своими скребками. Скот
Шевельнулся; шмыгнул застенчивый кот-мышедав;

Мы уже публиковали эту поэму — в переводе Марии Берсон («Ной», N 9)

Стучат башмаками доярки; навис небосвод;
К кормушкам метнулись куры стремглав;
Вся ферма проснулась, для чистых и честных работ.

Преклонясь , он молился в слезах
О скребке, чугунке, весь в лучинах слепящих лучей,
О чаше, ломте, средь размаха теней впотьмах,
В спеленутом доме, в скольженье ночей,
На гребне любви, покинутый, вверженный в страх.

От гордой тоски он рыдал,
Смутному небу молился, к булыжникам стылым припав,
Чтоб со стоном, по голым мослам, его голод шагал
Вдоль статуи конюшен, стойл поднебесных, канав,
Убогих лачуг, прудовых утиных зеркал,

В теплый, набожный дом,
Куда он тайно должен рухнуть с высот
Своей незрячей любви, в нору погребенную льдом;
Он горем нагим обожжен, хоть ветр не несет
Сквозь ладони ковшом, ни звука в затишье пустом;

Лишь голод ворон
Напряженный бураном, в разливе хлебной воды,
Взвился над нивой, истаял; стаям — урон.
Но пощадит его огнь безымянной беды,
Когда застывший как наст, долинами двинется он

В ночь впадающих рек,
Чтоб в затоне беды утонуть, залечь, сжавшись комком
В средоточье желанном, безгрешном, белом как снег,
В нелюдской колыбели, на брачном ложе таком,
Богомольцем отверженным, свет потерявшим навек.

— Дайте волю мне, бедняку! —
Он вскричал, — Погрузите в любовь, как в елей!
Пусть невеста вберет мою нагую тоску.
Не цвести мне средь белосемянных полей,
Или в миг обмирания плоти на полном скаку.

Чу! Поют без конца
В усопших селах певцы. На зерненных крылах,
Чтоб зимнюю сказку прочесть ветров мертвеца,
Летит соловьиха — лесов похороненных прах.

Бормочет в исчахшем ручье водяная пыльца.

Твердит: — Я скачу!
Колокольный, полый, исчахший поток. Трезвонит роса,
Осыпав помол листвяной и лишенную блеска парчу
Погоста снегов. В полых скалах гудят связанных ветром струн голоса.
Время поет в спутанной, мертвой капели снегов. Чу!

Это рука или гуд вдали,
В древней земле, скользнувшей в отверстую дверь,
От гуда, оттуда, в стужу наружу, к хлебу земли.
Как невеста горящая, птица лучится летящая. Верь!
Птица взошла на заре, и груди ее, в багреце, в серебре низошли.

Глянь! Плясуны пускаются вскачь
По снежным пожням, как пыль голубей под луной.
Трупы кентавров, могильные брюха ликующих кляч
Случив, превращают сочащиеся белизной
Стойла в птичники. Мертвый бредет за любовью пугач.

В скалах ветвей филигрань
Взвилась как на трубный сигнал. Дряхлой листвы
Иероглифы пляшут. Нити веков на камнях сплетаются в ткань.
Арфа пыльцы водяной бренчит среди синевы
Складок полей. Для любви встала птица давно. Глянь!

Дикие взмыли крыла
Над поникшей ее головой; пернатый летел
Голос нежный сквозь дом, и звучала хвала;
Ликовало паденье: ведь человек захотел
Одиноко пасть на колена в долине, что чашей была,

Пасть в пелене, в тишине,
У скребка, чугунка, на лучиннослепящем свету;
Птичье небо и голос пернатый манили вдвойне,
И он, за горящим полетом, как ветер взмыл в высоту,
Вдоль незрячих риг и хлевов затишной фермы в снежной стране.

Когда погибли дрозды
Как священство, на кольях года, в спеленутых грядках оград
И над саваном графств подскочили холмы далекой гряды, —
Рванул снеговик меж стволов, потерявших зеленый наряд
Как олень продираясь рогами сквозь чащу и льды,

Сквозь тряпье и молитвы снизясь, почти
По колена холмам и в мерзлое озеро — плюх!
Ночь напролет скитается бордствуя пти —
Ца, сквозь годы и земли, рой снежных мух, парящих как пух;
Внемли и гляди: в гусином щипанном море — птичьи пути.

Птица, невеста, небесная твердь,
Сеянцы звезд, ликованье за гранью поля семян
И кончины скачущей плоти, горящая водоверть,
Беда, небеса, небосвод, могила, туман.
В дальней, древней стране дверь ему распахнула смерть.

И на белый хлеб, на горбы,
Холмов, на чашу формы птица сошла
К полям на плаву, долу речному, рядам городьбы,
К прудам, где он молил о приходе последнего зла,
О завершенье сказки в доме огней и мольбы.

Танец погиб
На белизне; в поле нет зелени боле, мертвый затих
Певец в оснеженных селеньях желаний, что в глуби глыб
Хлеба прожгли иероглифы птиц золотых,
И на стекле прудов конькобежные очерки рыб

Летучих. Лишился обряд
Соловьихи и трупа клячи-кентавра. Иссох водоем,
Нити веков на камнях до утра трубного спят,
Стихла радость; время хоронит весну, что втроем,
С воскресшей росой и рудой гудела и прыгала в лад.

Вот, уложена птица в псалом
Клироса крыл: не то дремлет, не то умерла.
И был он отпет и обвенчан скользящим крылом,
И сквозь лоно невесты, что все вобрала, —
Женогрудой птицы с небесным челом, —

Его повлекли назад,
К брачному ложу любви, в завихренный затон,
В средоточье желанное, в складки врат
Рая, в тугосплетенный вселенский бутон,
И она расцвела и взмыла с ним в свой снегопад.

Перевел с английского *Арк. ШТЕЙНБЕРГ* (1907-1984)

Содержание вестника «НОЙ», №№ 1-16 (1992-1995 гг.)

СОДЕРЖАНИЕ



Обложка художника
Марка Ибшмана

Главный художник
Владимир Петров

Набор, верстка, оформление выполнены
Екатериной Эйдельштейн

$E^Э$

в издательстве «НОЙ»

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 020338 от 26.12.1991 г.

Формат 60х84/16
Бумага офсетная
Заказ 26

Цена свободная
Тираж 999 экз.

113534 Москва, а/я 11
Телефон: (095)386-25-63



НОЙ

נח

טז

